

ВОСПОМИНАНИЯ Н. Д. НОВИЦКОГО О ЧЕРНЫШЕВСКОМ И ДОБРОЛЮБОВЕ

Статья и публикация В. Э. Богграда

Имя Николая Дементьевича *Новицкого* (1833—1906) неоднократно упоминается в литературе, посвященной шестидесятым годам. Воспитанник Николаевской академии Генерального штаба, впоследствии генерал-от-кавалерии и член Военного совета, Новицкий занимал крупные командные посты в русской армии. В годы своей молодости он был близко знаком с Чернышевским и Добролюбовым, которые оказали большое и благотворное влияние на развитие молодого офицера. Много лет спустя Новицкий, по просьбе А. Н. Пыпина, написал воспоминания о Чернышевском, но полный текст их до сих пор не был известен. Впервые о существовании этих воспоминаний, не называя фамилии Новицкого, упомянул Е. А. Лядкий в статье «Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский» («Современный мир», 1910, № 6, стр. 162—163), приведя в ней ту часть воспоминаний «покойного Н. Д. Н.», в которой Новицкий рассказывал о встрече со студентом Чернышевским у И. И. Введенского в 1850 г. Кроме того, в распоряжении Лядкого был и другой автограф Новицкого, являющийся, очевидно, фрагментом первоначального наброска его воспоминаний, с которого исследователем была снята копия. Текст этой копии был опубликован Н. М. Чернышевской в сборнике «Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 295—296.

Местонахождение полного текста воспоминаний Новицкого до сих пор оставалось неизвестным. Однако, как это иногда случается, разыскивать их, в сущности, не приходилось: они были обнаружены там, где они должны были находиться — в архиве А. Н. Пыпина, хранящемся в ИРЛИ (ф. 250, ед. хр. 482).

Рукопись воспоминаний представляет собою тетрадь большого формата в 27 листов, исписанных с обеих сторон. Начало рукописи написано рукою писаря (лл. 1—6), остальная часть — автограф Новицкого.

В неопубликованных до сих пор письмах Новицкого к Пыпину (обширный архив которого оказался раздробленным и хранится в нескольких местах) отражена история работы мемуариста. Из письма Новицкого к Пыпину от 8 ноября 1889 г. видно, как глубоко и сильно поразила его смерть Чернышевского.

«Вот уже прошло три недели с тех пор, — писал Новицкий, — как я узнал о смерти Николая Гавриловича, в течение которых пробыл даже девять дней в Киеве, среди всяческой сутолоки, а и до сих пор, — поверьте слову, дорогой Александр Николаевич, — все никак не могу овладеть собой. Тени его и Добролюбова так вот и стоят передо мною... да, что тени! — я слышу их голоса, беседую с ними во сне, наяву... годы: 57, 58, 59, 60, прожитые с ними, воскресают в моей памяти с такою рельефностью, тянут до того к былому и отвращают от настоящего, что просто не хочется даже жить!.. Мало было проклятому текущему году Салтыкова, — надо еще было слопать и Николая Гавриловича!.. А мне все верилось, что он еще поработает — ну, хотя бы с десяток лет; что не для того же, в самом деле, он вышел пять лет тому назад из могилы, чтобы вновь, и уже окончательно, свалиться в нее!..»

Фу, какая мерзость все эти верования в призраки, в какую-то якобы логичность явлений. Бедная, жалкая русская литература, бедное, жалкое русское общество.

Из газет наших узнал я, что с покойного, лежащего в гробу, снята фотография. Если она есть у вас, пожалуйста, пришлите мне ее, ну, хотя бы с моим сыном, когда он поедет к нам на Рождество. Где гнездится жизнь у нас? черт ее знает! — ну, а смерть так вот и носится, так и косит все хорошее, все доброе» (ГПБ, письма к А. Н. Пышину).

В ответ на это письмо Пышин отправил Новицкому фотографию Чернышевского и обратился с просьбой написать воспоминания о покойном. Новицкий горячо откликнулся на это. 8 января 1890 г. он писал:

«Не знаю, как и благодарить вас, мой дорогой Александр Николаевич, за присылку портрета, сходство которого до того поразительно с оригиналом, что я точно смотрю на последний...

Ваше желание относительно „воспоминаний“ я исполнил, но — не посердитесь — не успел их привести в вид, удобный для посылки с отъезжающим сыном. С одной стороны — раскидался, с другой — набросал их так неразборчиво и грязно, что вижу необходимость и посокротить и велеть переписать все почище и поразборчивее. Много недели через две я вышлю их вам на ваше *полнейшее усмотрение и распоряжение*: как знаете, так и поступайте. Если не подвернется оказия, то не лучше ли, вместо того, чтобы адресовать вам на вашу квартиру, выслать их в контору редакции „Вестника Европы“ уже для передачи вам? Бросьте по сему поводу словечко! Пусть бросите в яму мое писание вы, за то я не буду в претензии, но не почтовое ведомство» (ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 315, л. 4).

Однако, несмотря на обещание, отправка воспоминаний Новицким задерживалась. Они были посланы лишь 25 февраля 1890 г. вместе с сопроводительным письмом, в котором он объяснял причины столь длительной задержки:

«Не сердитесь на меня, дорогой мой друг Александр Николаевич, что шестью неделями позже противу срока посылаю вам обещанную рукопись, при сем прилагаемую, и которую, посвящая вам, предоставляю вам же в полнейшее распоряжение: что хотите, то с нею и делайте! Об одном только попрошу, буде вздумаете ее напечатать, чтобы имя автора рукописи осталось под спудом.

Замедление в отправке произошло по причине замедления выезда из Ромен вручителя рукописи, ротмистра Григория Ивановича Карташевского, с которым отправить ее мне гораздо желательнее, чем чрез посредство нашей перлюстрирующей почты. Кстати замечу, что ваша Наташа знает Карташевского и его жену, с которою она дебютировала у нас на сцене. Это — совсем порядочные люди.

Не скрою, что рукопись писалась дольше, чем предполагал я. С одной стороны перерывы — независимые от меня, с другой — добровольные. Крепко уж, знаете ли, растревляла эта работа нервы мои! Не только вспоминать, но еще и рассказывать про былое, хорошее и доброе, когда сам в настоящем сидишь за подковыриванием подметок к старым сапогам, — уж какое это преядовитое занятие!..

Не знаю, пригодится ли на что вам эта рукопись, при набрасывании которой у меня из головы не вылезал некрасовский стих, что его

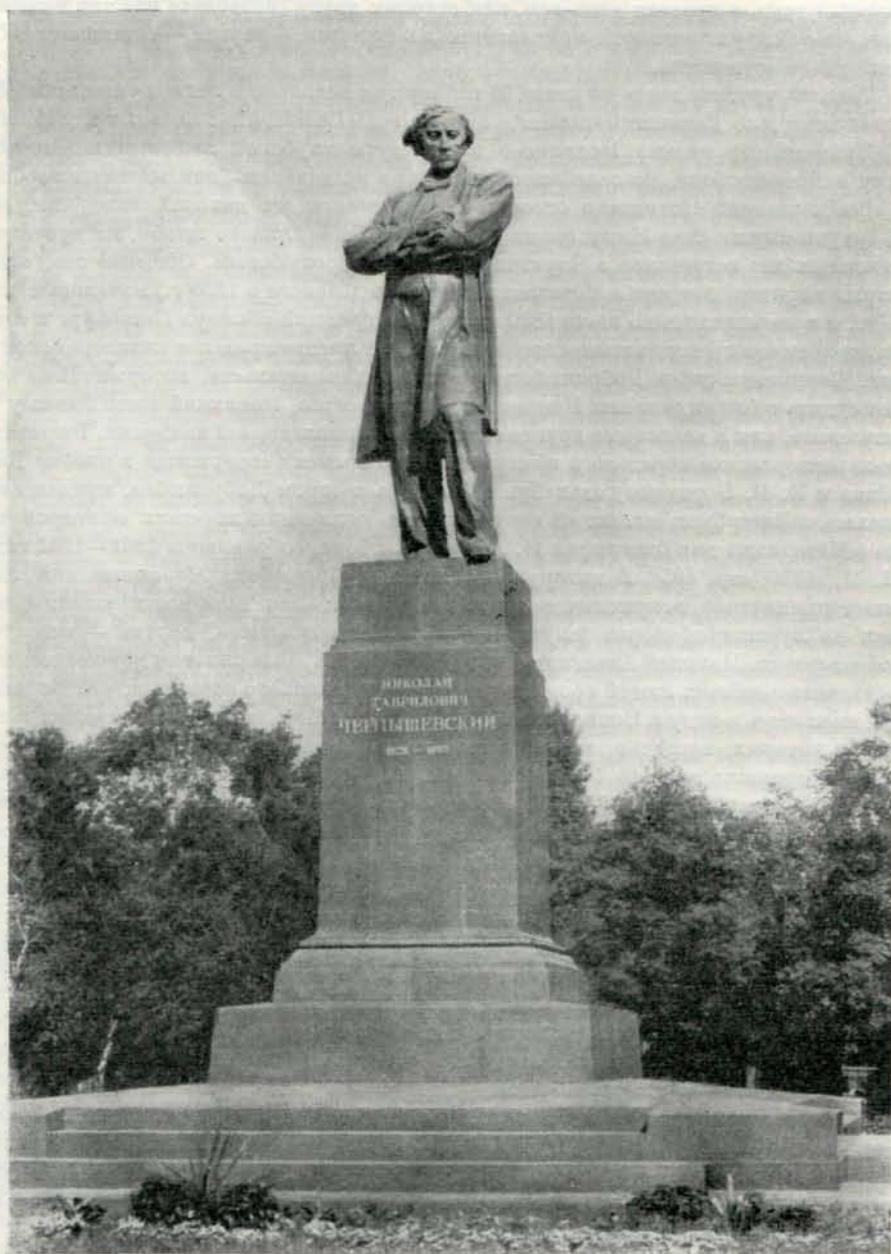
не прославиться —
угодить тебе хочу!

Во всяком случае, если бы что в ней оказалось не довольно ясным или полным, то без церемонии поставьте мне вопросы, на которые я постараюсь ответить.

Заодно, пользуясь оказией, прилагаю к рукописи этой еще и оттиск из „Киевской старины“. Все ведь это также относится к тому же невозвратному...» (ИРЛИ, ф. 250, ед. хр. 174, лл. 3—4. — В № 3 «Киевской старины» 1889 г., под криптонимом Н. Д. Н., была напечатана заметка Новицкого «К биографии Т. Г. Шевченка», в которой он рассказывал о своем участии в освобождении из крепостной зависимости поэта).

По получении рукописи, Пышин обращался к Новицкому с некоторыми вопросами и обещал не предавать воспоминания гласности.

«Говоря о печати, — писал в ответ на это ему Новицкий 18 марта 1890 г., — я говорил это только так, на случай, вперед зная о немислимости даже напечатания моих воспоминаний — не только теперь, но, вероятно, и лет через 30-ть, 40!! Да, и писавши-то



ПАМЯТНИК ЧЕРНЫШЕВСКОМУ В САРАТОВЕ
Скульптура (бронза) А. П. Кибальникова, 1953 г.
Фотография А. и В. Леонтьевых, 1958 г.

их, я не думал о том, почему и набрасывал их, ничем не стесняясь. Это — не литературный труд, а простая дань вам, как старому другу (позвольте вас так называть), и памяти тех двух личностей, привязанность к которым, — верьте, — составляет добрую часть моего существа...

Тяжело, грустно жить на свете. В голову так невольно и лезет пушкинский стих: „Зовет меня мой Дельви́г милый!..“ Эх-ма!» (ЦГАЛИ, ф. 395, ед. хр. 315, л. 6).

Приведенные письма Новицкого проникнуты глубокой любовью к Чернышевскому и Добролюбову, не ослабевшей, несмотря на давность описываемых событий.

Воспоминания Новицкого относятся ко временам его далекой молодости, когда он, будучи слушателем Николаевской академии Генерального штаба, на протяжении нескольких лет встречался с Чернышевским и Добролюбовым. Общение это (если не считать короткой встречи с Чернышевским у Введенского в 1850 г.) началось с конца 1857 г. и продолжалось до июля 1860 г., когда Новицкий покинул Петербург в связи с назначением его преподавателем военных наук в Елисаветградское кавалерийское училище. Чернышевский и Добролюбов оставили ряд свидетельств, которые также позволяют судить о близости к ним Новицкого. Как известно, Новицкий часто бывал у Чернышевского, как и некоторые другие слушатели Николаевской академии. Выразительная характеристика передового офицерства того времени содержится в письме Добролюбова к И. И. Бордюгову (декабрь 1858 г.), в котором Добролюбов, предлагая ему приехать в Петербург, писал: «Я бы тебе целую коллекцию хороших офицеров показал» («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I. М., 1890, стр. 495). К цитируемым словам Добролюбова Чернышевский сделал важное примечание, вскрывающее их точный смысл: «Это были два кружка: один состоял из лучших офицеров (слушателей) Военной академии, другой — из лучших профессоров ее. Николай Александрович <Добролюбов> был близким другом некоторых из замечательнейших людей обоих кружков». Нет никакого сомнения, что Чернышевский имел здесь в виду и Новицкого. В 1888 г., когда Чернышевский составлял «Список лиц, от которых, вероятно, можно было бы получить или письма Добролюбова или другие материалы для его биографии» («Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», т. III. М., 1930, стр. 652—653), то одним из первых назвал он Новицкого, не сделав к этому каких-либо пояснений. Значение такой записи становится понятным при сравнении с внесенной почти в конце списка весьма примечательной характеристикой при фамилии Добровольского: «Добровольский, бывший в 1857—1859 годах офицером Генерального штаба, другом Н. Д. Новицкого и вместе с ним очень близким приятелем Добролюбова. Жив ли? И остался ли хорошим человеком? (Подобно Новицкому, он давно стал генералом. Но не от чина происходит мое сомнение в нем, а от некоторых слухов)». Из этого можно судить, что отношение Чернышевского к Новицкому было благожелательным и не изменилось с течением времени.

Публикуемые воспоминания свидетельствуют о вполне определившейся близости между Новицким и Добролюбовым.

В связи с этим следует остановиться на известной записи в дневнике Добролюбова от 5 июня 1859 г.: «Есть, правда, еще Н., Ст., Д., — да кто их знает, что они за люди». Расшифровка этой записи была не столь давно подвергнута сомнению В. Н. Шульгиным, заявившим, что «нет никаких оснований думать, что Н. — это Новицкий, Ст. — Станевич, Д. — Добровольский» («Вопросы истории», 1954, № 10, стр. 129).

Материалы воспоминаний Новицкого на первый взгляд как будто бы действительно заставляют усомниться в правильности расшифровки буквы «Н.», так как дневниковая запись Добролюбова указывает на отсутствие полной ясности и доверительности в отношениях Добролюбова к «Н.» и его друзьям: «Да кто их знает, что они за люди...». Однако при ближайшем рассмотрении указанное противоречие оказывается мнимым. Оно снимается при помощи уточнения дат посещения Новицким Чернышевского и Добролюбова.

Новицкий указывает, что он приехал в Петербург осенью 1857 г., к началу занятий в Военной академии. С Чернышевским он, по его словам, встретился у З. Сераковского «месяца этак через три» по приезде в Петербург. Только после этого, то есть в конце 1857 или в начале 1858 г., Новицкий начал посещать Чернышевского, сделался

постоянным посетителем его четвергов. На этих приемах у Чернышевского Новицкий познакомился с Добролюбовым, но бывать у него стал значительно позже. Новицкий заявляет, что он начал бывать у Добролюбова, когда тот жил на Моховой. А Добролюбов поселился там лишь в конце июня 1859 г. (С. А. Р е й с е р. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953, стр. 219). Неудивительно поэтому, что в дневниковой записи от 5 июня Добролюбов записал о «Н.» и его друзьях: «Да кто их знает, что они за люди». Запись в дневнике фиксирует начальный этап личного общения Добролюбова с Новицким, воспоминания же Новицкого рисуют общую деловую картину их отношений. Противоречия между этими документами нет.

В публикуемых воспоминаниях Новицкий, сколь это ни странно, изображает Чернышевского кабинетным мыслителем, теоретиком, человеком, далеким от революционной борьбы. Трудно объяснить это личными, «охранительными» мотивами мемуариста. Как видно из цитированного выше письма к Пыпину от 18 марта 1890 г., Новицкий писал свои воспоминания исключительно для него, не думая о печати и цензуре, «почему и набрасывал их, ничем не стесняясь». На честность же Пыпина он имел полное основание полагаться. Поэтому он мог откровенно говорить о всем ему известном. Так, он не побоялся назвать своим приятелем повешенного революционера З. Сераковского, чего не позволила бы ему сделать элементарная осторожность, если бы он писал с оглядкой на цензуру или с недоверием к политической честности Пыпина.

Отсутствие сведений о революционной деятельности Чернышевского и Добролюбова в воспоминаниях Новицкого объясняется осторожностью не Новицкого, а Чернышевского и Добролюбова. При всем сочувствии к их идеям Новицкий, вероятно, не был революционно настроен и по одной этой причине не мог быть осведомлен Чернышевским и Добролюбовым о конспиративной стороне их деятельности. Вспомним, что к составлению серии прокламаций Чернышевский привлек Шелгунова и Михайлова и никого из тех, кто был скрыт в дневнике Добролюбова под разными инициалами.

Воспоминания Новицкого проникнуты глубочайшим уважением и признательностью к Чернышевскому и Добролюбову, которые были его руководителями в «невозвратно минувших годах бодрой молодости, смелых надежд и верований в светлую будущность». Взгляды и идеи, развиваемые вождями русской революционной демократии при общении с молодым, прогрессивным настроенным офицером, недавним участником Крымской войны и героической обороны Севастополя, который вместе со своими товарищами по оружию предавался «горячим толкам о только что закончившейся кровавой трагедии, о причинах, вызвавших и приведших ее к известной перипетии, о ходе и вероятных последствиях ее», находили благоприятную почву и поддержку. Несомненную роль в формировании прогрессивных взглядов Новицкого сыграло также частое посещение им «четвергов» Чернышевского, на которых, — как пишет Новицкий, — собирались «люди, столько же сочувственно относившиеся к прогрессивному движению, охватывавшему в те времена все слои общества, сколько к „Современнику“ и главнейшим его сотрудникам, бывшим лучшими выразителями этого движения»; «...каждый мог рассказывать ли что или высказаться по поводу чего-либо, с полной неприужденностью, не оглядываясь на соприсущих, как это обыкновенно бывает на наших собраниях, да как, к сожалению, нередко и бывало, а особенно последнее время на вечерах по вторникам, у покойного Н. И. Костомарова, у которого иногда собиралась уму непостижимая по своей разношерстности смесь всякого рода». Из этого видно, что на вечерах у Чернышевского был круг близких к нему лиц, которые в своих беседах касались вопросов текущей политики, событий дня, литературы и науки. Как указывает Новицкий, он все теснее сближался с Добролюбовым «по общности взглядов на жизнь вообще, а на нашу русскую, в особенности». Тем не менее, «он не стал революционером. Как многие из людей его круга, Новицкий, после отъезда из Петербурга в 1860 г., отходит от увлечений молодости, сохранив, однако, навсегда глубокую привязанность к Чернышевскому и Добролюбову.

Пользоваться воспоминаниями Новицкого, как и большей частью мемуаров, следует с осторожностью — не все сообщаемое в них может считаться исторически точным. При всем том они не лишены значительного интереса и займут видное место среди обширной мемуарной литературы о Чернышевском и Добролюбове.

ИЗ ДАЛЕКОГО МИНУВШЕГО

(ПОСВЯЩАЕТСЯ А. Н. ПЫПИНУ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА РАЗДРАНИЯ СЕЙ РУКОПИСИ В КЛОЧКИ)

Darüber ist längst Gras gewachsen*.

I

Как-то раз по ранней весне 1851 г.¹, в одно из воскресений, утром, я с двумя своими товарищами**, выпущенными осенью того же года вместе со мною из Дворянского полка на службу офицерами в ** артиллерийскую бригаду, зашли к нашему тогдашнему учителю русской словесности, Иринарху Ивановичу Введенскому, которого, мало сказать — мы, как впрочем и все его ученики, любили и чтили, но, говоря по-институтски, — просто «обожали».

— Позвольте, господа, вас познакомить с моим земляком, Н. Г. Чернышевским, — сказал Иринарх Иванович, введя нас в свой небольшой, заваленный грудой книг, журналов и бумаг кабинет и представляя сидевшему у стола и вставшему при нашем появлении студенту, невысокого роста, с золотисто-каштановыми, не коротко обстриженными, гладко причесанными волосами, с голубыми, вдумчивыми глазами, в очках, и одетому довольно опрятно, хотя и не в новый уже форменный студентский сюртук.

Мы по очереди пожали ему руку.

— Ну-с, господа, дорогие гости, садитесь, будем чай пить да беседовать, — говорил Иринарх Иванович, усаживая нас и угощая папиросами.

— Но мне, как знаете, Иринарх Иванович, надобно торопиться, — заметил Чернышевский на это приглашение, забирая с собою какой-то сверток бумаг и свою треуголку.

— Знаю, знаю, — спохватился Иринарх Иванович; — а потому и не удерживаю, хотя очень, очень сожалею, что вы покидаете нашу компанию.

Мы вновь пожали руку уходящему студенту, которого хозяин проводил до передней, где они проговорили о чем-то около десяти минут.

— Простите, господа, что покинул вас тут одних, — извинялся торпливо возвращающийся к нам Иринарх Иванович, — но, — проклятая память! — я только при прощанье с молодым человеком вспомнил, о чем давно уже собирался ему сказать.

— Это не из ваших бывших учеников? — кто-то из нас спросил Иринарха Ивановича.

— О нет, — отвечал он. — Это мой добрый знакомый, саратовец, — такой же, как и я, как вы то, разумеется, уже знаете, семинарист, — приехавший сюда, как и я когда-то, искать света в университете... Это-с — не только милейший, симпатичнейший, трудолюбивейший молодой человек, но и являющийся подчас, — для меня, по крайней мере, — неразрешимую загадку?!

— В каком же отношении?..

— Да в том, извольте видеть, что он, несмотря на свои какие-нибудь 23, 24 года², успел уже овладеть такою массою разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкость встретить и в другом патентованном ученом!.. Да-с, да-с, так что, беседуя с ним, — поверите ли? — право, ей-богу, не знаешь, чему дивиться? — начитанности ли, массе ли его познаний и сведений, в которых

* Все это давно поросло травой (нем.).

** Один из них — Павловский, был убит в сражении на Черной речке, 4 августа 1855 г., а другой, Лыженко, умер в 1887 г. — *Прим. Новицкого.*

он умел при том наисолиднейше разобратся, или широте, пронизательности и живости его ума?! Замечательно организованная-с голова! даровитый молодой человек, который, — смело можно предсказать, — должен в будущем занять видное место в нашей литературе, — разве!.. — И Иринарх Иванович умолк, склоняя, по обычному ему жесту, голову несколько набок, направо, задумчиво смотря, чрез очки, куда-то вдаль, и складывая губы в какую-то горько-ироническую улыбку.

Поговорив сначала о этом «разве», на котором оборвалась речь нашего незабвенного наставника, мы перешли затем к литературе и истории, страшно охватывавшим тогда наши умы и сердца под благотворным влиянием его же, и только после долгой беседы, длившейся, помнится, часа два, ушли домой. Вспоминая и комментируя затем каждое слово, сказанное Иринархом Ивановичем во время этой задушевной беседы его с нами, мы нередко вспоминали, между прочим, и о студенте, встреченном у него и так блестяще им аттестованном, сойтись и поближе познакомиться с которым стало для нас в высшей мере желательным, хотя, к сожалению, и не так простым, как это могло казаться. Дело в том, что из корпусов, бывших тогда строго закрытыми заведениями, нас увольняли в отпуска только по праздникам, когда, следовательно, мы только и могли встречаться с ним. Расчет на эти встречи у Иринарха Ивановича представлял, однако, очень мало шансов, так как мы, при всем бесконечном добродушии его, зная вечную заваленность его работою, тревожить его нашими частыми посещениями, по чувству простой деликатности, не позволяли себе никогда. Оставалось, значит, одно: пойти самим прямо на квартиру привлекавшего нас к себе студента!.. — на что после некоторых колебаний мы и решились, хотя и не без предварительного одобрения Иринарха Ивановича.

Пошли раз, но увя! оказалось, что студент с месяц уже тому назад, как съехал со своей квартиры; но куда? — «А кто же его знает?..»³

«Нешто за скубентами уследишь?!», — отвечал, почесываясь, на наш вопрос дворник. — Не без труда разыскав новую квартиру Чернышевского, — где именно находившуюся? уже не помню, но только не близко от нас, — мы заходили к нему еще, кажется, раза два или три, но, не оставив его дома, так и уехали по произволу нас в офицеры, по осени⁴ из Петербурга, не встретив его уже более ни разу нигде.

Такова была моя первая, мимолетная встреча с Николаем Гавриловичем и таков был первый, тоже, пожалуй, мимолетный отзыв, но услышанный мною однако о нем от человека выдающихся способностей, обширного образования, замечательного столько же по уму, сколько по высоте и чистоте всех своих помыслов и побуждений, в одинокую могилу которого хотя и швырялись из-под полы комки грязи нашими нынешними сикофантами, но имя которого будущий историк нашего просвещения и литературы всегда будет произносить с чувством глубочайших симпатий и почтения.

С той поры прошло без малого три года, проведенных нами на службе в далекой, по тогдашнему отсутствию железных путей, Малороссии, среди глубочайших мира и тишины, о близком и суровом нарушении которых никто и не помышлял. Мирная войсковая служба того времени, за исключением летней поры, тягостью вообще не отличалась и оставляла для нас, военной молодежи, массу досуга, которым мы могли пользоваться, как хотим! Что скрывать? Много этого досуга и с тем вместе, конечно, и души бесшабашно тратилось в разухабисто-разгульной жизни тогдашних помещиков, у которых мы всегда были желанными гостями. Да и как было нам тут, только что вырвавшимся на волю из-за душных стен и железных тисков корпусной жизни, устоять противу соблазнов всех этих празд-

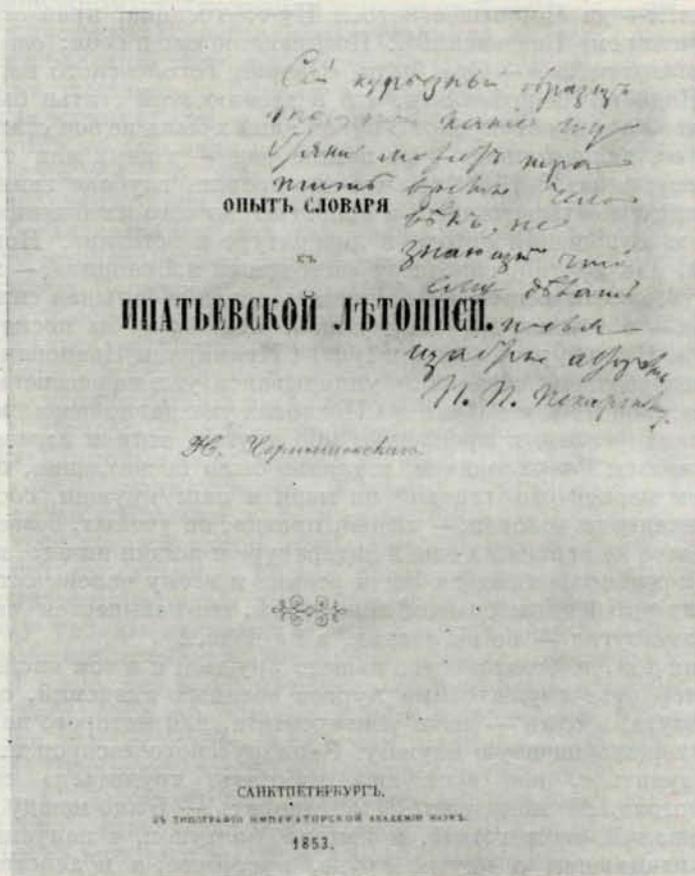
несть и пиров, на которые, — то и знай, — что приглашали нас?! — против всех этих охот, пикников, ухаживаний, плясок, картежа, а подчас, — безумных кутежей и разгула?!. Но, — удивительное дело! — как далеко ни завлекали нас все эти разудалые забавы, все же таки они не в силах были изгладить в нас впечатлений, вынесенных с уроков и бесед Иринарха Ивановича, ни парализовать данного им импульса к умственному труду, к интересам высшего порядка. Даже и при увеселительных поездках по балам и охотам мы все же таки никогда не упускали случаев доставать книги, иногда очень хорошие и серьезные книги, бог весть уже, как и зачем попадавшие в помещицких разношерстных библиотеках; аккуратно выписывали сами почти все, тогда очень немногочисленные, поврежденные журналы и в часы досуга, которого и за пирами и службою все-таки оставалось вдоволь, с жадностью читали и перечитывали их, а иногда целые ночи напролет проводили в горячих дебатах в своем товарищеском кружке по поводу тех или других прочитанных статей. Конечно, при этих дебатах часто вспоминалось нами и дорогое имя Введенского, мнение которого при этом так часто хотелось бы слышать, да вспоминалось, между прочим, и имя безвестного тогда Чернышевского, статей которого, веря предсказанию Иринарха Ивановича, мы нетерпеливо поджидали и которого, как нам казалось, в свою очередь, также нетерпеливо ожидало пустующее тогда в журналах место Белинского...

Не прекращались наши дебаты, не переставали мы выписывать журналы, а в Бухаресте приобретать книги⁵ и в течение всей Восточной войны, на которую мы выступили в 1853 г. Но только по неурядице, царившей тогда и в полевой почте, иные книжки журналов вовсе не доходили до нас, а которые и получались, то либо в обтрепанном виде, либо так, что февральская книжка получалась позже майской и т. п. А время, тяжелое время, все шло да шло. С Придунайских княжеств мы перебросились в Крым. Свершилась перемена царствования. Пал Севастополь, а в нем и на Черной речке пали безвременно и некоторые товарищи нашего кружка, бодро шедшего на войну и с патриотическим воодушевлением, дружным хором юных голосов распевавшего старинную песню, начинавшуюся словами «Где ты, виновник чувств высоких и священных?!» и кончавшуюся припевом:

Пусть Россия дорогая
Нас сынами назовет,
И, Россию защищая, —
Каждый пусть из нас умрет!..

Наступил 1856 год. Заключили перемирие, а затем и мир, после которого в течение месяцев двух все чины враждовавших армий не только знакомились, но сближались, даже сдружались, посещая и угощая друг друга без малейшего остатка злобы от только вчера заключившейся борьбы. Любопытное было время!.. Началась, наконец, и постепенная эвакуация войск из Крыма. Бригада, в которой я служил, была первоначально передвинута с Черной речки к г. Карасу-Базару, лежащему уже в степной части Крыма. Стоял великолепный май, когда крымские степи, покрытые роскошною, душистою травой и массою цветов, кажется, дышат жизнью. После бурной боевой деятельности и тяжелых трудов для нас, по крайности, наступила пора полного бездействия. В ожидании дальнейшего передвижения в Россию, пока неизвестно еще для нас: куда именно, мы много гуляли, купались, охотились на дрохв, бешено скакали с татарскими борзыми по степям за зайцами, но еще больше предавались горячим толкам о только что закончившейся кровавой трагедии, в которой были участниками, — о причинах, вызвавших и приведших ее к известной перипетии, о ходе и вероятных последствиях ее⁶. От отвлеченных вопро-

сов философии, истории, эстетики, столь занимавших нас, мы как-то незаметно для нас самих стали все чаще и чаще переходить на почву действительности, на почву нашей войсковой да и вообще всей нашей русской жизни и, между прочим, к разговорам о крепостных, которых чуть не у каждого из нас имелось при себе по одному, а то и по два человека. Диапазон всех этих толков все подымался выше и становился страстнее. Мы



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ИЗДАНИИ ЕГО КНИГИ «ОПЫТЪ СЛОВАРЯ КЪ ИПАТЬЕВСКОЙ ЛѢТОПИСИ», СПБ., 1853:

«Сей курьёзный образец того, на какие пустыни может тратить время человек, не знающий что ему делать, посвящается автором
П. П. Пекарскому»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

строили планы о дальнейшем нашем образовании, жажда к которому, как равно и к чтению, стала чувствоваться нами с небывалою еще силою... Чтобы хотя как-нибудь удовлетворить эту жажду, мы нарочно даже снарядили одного из наших товарищей в Симферополь: не разыщет ли как он в тамошнем почтамте наших журналов?..

Прошло два три. Как теперь вижу: сидим мы в татарской сакле на полу и ужинаем от добычи охоты нашей. Вдруг затарахтело что-то на дворе. Отворяется дверь, и в нее входит возвратившийся из Симферополя товарищ наш В**, сопровождаемый солдатиком, тащащим за ним всякие закупки и связки журналов.— «Вот, молодец!— добыл-таки наши журна-

лы!»— почти единогласно с восторгом вскричали мы.— «Добыть-то добыл, — отвечал он, — но опять не все и разрозненные, хотя едва не целые сутки рылся в почтамте, где — верите ли? — и книгами, и письмами комнаты завалены чуть-чуть не до потолка!.. Впрочем, четыре первые книжки „Современника“ посчастливилось, однако, разыскать; а в них, знаете ли, господа, чья напечатана статья?.. Я не утерпел и начал читать ее даже дорогою, сидя на возу...» — «Чья, чья?» — нетерпеливо спрашивали мы его. — «Чья?.. — да Чернышевского... Ну-с, господа, прав *ваши* (В** не был его учеником) Введенский!.. Поздравляю вас и себя: *отныне место Белинского занято...*» — Это были «Очерки гоголевского периода литературы». Надобно ли добавлять, что к чтению этой статьи было тут же безотлагательно и приступлено. В руках наших была не вся статья, а только начало ее, напечатанное — не помню уже — в двух или трех книжках «Современника»? Но и то, что мы прочли, глубоко заинтересовало нас и оригинальностью мыслей, и ясностью живого изложения, — и своеобразностью отношений автора к литературе и эстетике. Новый ли это Белинский, или другой, еще миру «неведомый избранник»? — мы не брались решать, но что в лице его появилась новая и большая сила в родной литературе, — в том мы не сомневались. «Ах, как бы поскорей теперь добраться до Петербурга, да поговорить с Иринархом Ивановичем!» — говорили мы по прочтении «Очерков», укладываясь уже на рассвете спать и не подозревая даже того, что Иринарх Иванович уже давно лежал в могиле!..⁸

При таких условиях произошло мое другое, хотя и *заочное*, знакомство с Николаем Гавриловичем, и таково было впечатление, произведенное чтением первой его статьи* на меня и наш кружок, состоящий из десяти, двенадцати человек, — людей, правда, не ученых, безвестных, молодых, но зато не искавших еще в литературе и жизни ничего, кроме света и истины, преисполненных любви к родине и всему человечеству и пока искушенных жизненным опытом лишь в том, что называется самопожертвованием за других — не на словах, а на деле...

По осени 1857 г. большинство нашего кружка, а в том числе и я, было уже в Петербурге слушателями курсов военных академий, один — Горного института, а один — даже университета, для которого не задумался покинуть хорошо начатую службу. Заря русского «возрождения» подымалась, — «учиться, изо всех сил работать, трудиться» становилось лозунгом тогдашней молодежи. Что говорить! — Было между этою молодежью, пожалуй, если хотите, и немало болтунов, с напускною горячностью горланявших о науке, труде, прогрессе, а в действительности бездельничавших и только подслуживавшихся духу времени. Вот именно из этих-то горлопанов, — как то можно доказать с «поличным» в руках, — и вышла впоследствии вся эта орава нынешних quasi-беллетристов и критиков разных: «Помой», «Чего изволите»⁹ и проч., и проч., которые с таким во истину холопским усердием ныне всячески поносят то, чему они тогда якобы поклонялись, и что они, несомненно, точно с таким же усердием станут восхвалять завтра же — повея только с другой стороны ветерок в их погребок!.. Но не такого пошиба личностями очерчивался общий характер большинства тогдашней молодежи, — того большинства, которое за точку отправления и за основной камень своих саморазвития и самодеятельности принимало два, так сказать, положения: «Я — человек, и ничто человеческое мне не должно быть чуждо», и другое: «Долой не только невежество, но и дилетантизм, довольно уже натворивший зла людям, как то доказывается тысячами примеров истории всех веков и наро-

* Статьи Чернышевского, если не ошибаюсь, начались печататься с 1853 г., но мы не знали того, и упоминаемая статья, принимаемая нами за первую, была, собственно говоря, лишь *первою* прочитанною нами его статьею. — *Прим. Новицкого.*

дов, а нашей — новейших времен, кончая Крымскою войною, с особенною наглядностью».—И если первое из этих положений, расширявшее умственный горизонт, оживотворявшее и облагораживавшее стремления молодежи, могло, пожалуй, вести иногда к некоторой, так сказать, раскиданности мыслей, то последнее, служа тому тяжелым противовесом, могуче толкало ее к усидчивому труду, к серьезному изучению каждым своей специальности. Да так оно в действительности и было, вопреки ложным и тенденциозным утверждениям нынешних бытописателей той эпохи.

Посещали учащиеся молодые люди и общество, и оперу, бывшую тогда в Петербурге в большом ходу, и театр, на котором стали появляться пьесы Островского, и выставки,— бывали в концертах, на балах, на разных собраниях и вечеринках, но — вопреки тем же лживым утверждениям — опять-таки вовсе не забывали за всеми этими увеселениями своего дела, а возвратившись, бывало, домой, чтобы наверстать утраченное иногда таким образом время, ночи напролет просиживали за книгами да за записками, работая с такими лихорадочными энергиею и увлечением, — точно солдаты гарнизона над верхами крепости, ожидающей ежеминутно нового штурма. Серьезность стремлений к науке, научной работе была так в тогдашней молодежи велика и заразительна, что она мало того, что заставляла братья за книгу людей, давным-давно покинувших чтение, но благотворно воздействовала даже на саму профессуру, в рядах которой — увь! — немало было людей, относившихся к своим обязанностям не только с халатностью, но и с полнейшим индифферентизмом. Все это — факты, отрицать которые из помнящих то время не станет никто, у кого сохранилась хотя капля совести и чести!.. — «Господа!.., — говорил, обращаясь к своим братьям, один из почетных профессоров на юбилее, праздновавшемся тогда в одном из высших заведений, где был слушателем и пишущий эти строки. — Если и прежде мы усердно трудились над задачами, принятыми каждым из нас на себя, то теперь применительно к умственному уровню настоящих наших слушателей и серьезности их научных стремлений и занятий мы должны наши усердие и труды удесятерить...» — И слова эти были истиною, — истиною вдвойне: и вверх, по отношению к кафедре, и вниз, по отношению к аудитории. Да, если бы все это не было так, как мы утверждаем, а так, как утверждают современные литературные Ноздревы, разрисовывающие тогдашнюю учащуюся молодежь, то — в образе пустых политиканов-болтунов, то — каких-то Дон-Жуанчиков — развивателей барышен, то спрашивается: откуда же взялась вся масса лиц, впоследствии с таким знанием своего дела и честью работавших, да еще продолжающих и по сию пору работать на всех, без исключения на всех поприщах и по всем отраслям государственно-общественной деятельности, — лиц, из которых весьма многие успели заслужить себе почетную известность не только у себя дома, но и за границею?!.. Конечно, не все, но большинство их взялось и вышло все из рядов той же, якобы ничего путного не делавшей молодежи, которая довершала или начинала свое высшее образование в конце 50-х и начале 60-х светлых годов.

Я поступил на курс академии N¹⁰, куда прилив слушателей был в 1857 г. небывало велик, представляя поэтому еще большую, чем обыкновенно, пеструю смесь представителей всех родов оружия, людей, если почти и одинаковых по уровню образования, то различных по воспитанию, а еще более — по материальным средствам и по классам общества, из которых вышли они. Такая пестрота при общности научных интересов, в виду к тому же одинаковости службы, к которой мы подготовляли себя, не помешала, однако, нашему довольно скорому сближению друг с другом. Правда, мы не составляли одного общего, плотно связанного кружка, чего, впрочем, и не могло быть уже по одному числу лиц нашего курса, доходящего

до 80-ти человек. Но мы не разбивались, однако, и на кружки, крепко в себя замкнутые, а тем более — враждебные друг другу, хотя, понятно, частью — прежние сослуживство или приятельство, а частью — и новая приязнь, зарождающаяся на почве взаимной симпатии между молодыми людьми, вместе учащимися и работающими, естественно, приводили к тому, что одни чаще виделись и больше говорили с другими, чем с прочими, а иногда — собирались на сходки к какому-либо из приятелей, у кого была квартира попросторней.

Привнеся страшное слово «сходка», считаю не лишним здесь оговориться, что сходки наши не имели никакого сходства с сходками студенческими*, глубокомысленными, историческими исследованиями которых и по сию пору не перестали еще заниматься разные отставные профессора и инспектора, пишущие в «Русской старине»¹¹, — по сию пору, очевидно, ничему не научившиеся и ничего не забывшие, а потому и рассказывающие про них с серьезною миною лиц губернского гоголевского города, строивших догадки: кто такой был Чичиков? — такие страхи, от которых, право, можно было бы умереть, не возбуждай они неударжимого смеха!.. Нет, наши сходки, на которые собирались не юноши-студенты, а люди, хотя и молодые еще очень, но уже служащие или действующие на том или другом жизненном поприще, отличались от студенческих не только немногочисленностью, но и всем своим характером. Исследование и изучение военного дела во всех его разветвлениях и элементах, начиная с человека, взявшего в руки оружие и идущего на смерть или победу, а также общенаучные вопросы были всегда главнейшим содержанием этих сходок, хотя, само собою разумеется, не обходилось при этом без разговоров и горячих дебатов и по поводу подымавшихся и сильно волновавших тогда все русское общество вопросов. То была пора небывалого еще подъема общественного духа, когда (употребляю не свое, а чужое выражение) не было, казалось, на Руси камня, в котором не бился бы пульс!.. Как же при таком состоянии общества могли не интересоваться и не волноваться всеми этими вопросами — мы-то, учащаяся военная молодежь, только что сошедшая с бастионов Севастополя и чувствовавшая и считавшая себя не какими-либо Landsknecht'ами, «маржеретами», а сынами своей земли, столько же дорожащими ее благом, величием, сколько и болеющими всеми ее болезнями?! Как, наконец, мы могли безучастно относиться к общественным вопросам уже по одному тому, что в ряду их не было такого, который так ли, иначе ли, но не находился бы в тесной, органической связи — не только с нашим личным бытом, но с бытом и устройством всех вооруженных сил страны, реформирование которых, хотя, правда, во многом еще поверхностное, отрывочное, но шло уже тогда весьма энергично, являясь как бы кануном всех последовавших за тем обширных реформ в империи.

Да, бился, сильно бился тогда общественный пульс и в нас; но такая возбужденность его, заставлявшая нас так горячо относиться к этим вопросам, не только не умаляла в нас интерес к изучению своей специальности, но еще пуще поджигала к тому. — «Не все прославленные историей военные люди были, к сожалению, лучшими и честнейшими гражданами своей страны, — говорили мы, — но все они и всегда были образованнейшими людьми своего времени». — «Военное дело само по себе — не наука,

* О студенческих сходках я имел случай составить себе довольно ясное понятие, частью — из рассказов некоторых знакомых профессоров и студентов, а главное — моего товарища, слушавшего тогда университетские курсы, человека очень умного и наблюдательного. Раз как-то из курьеза я даже присутствовал, конечно, со стороны, — с ним и сам на такой сходке, произведшей на меня почти такое впечатление, какое производит игра детей в солдатки и в войну, какую в действительности по сути своей эти пресловутые сходки и были да, конечно, навсегда и останутся, по крайней мере, до тех пор, пока детство не перестанет быть детством, а юность — юностью!.. — *Прим. Новицкого.*

Александръ Николаевичъ
Пыпинъ

поручилъ мнѣ надписать, что
передаетъ эту брошюру П. П. Пе-
карскому въ знакъ дружбы, свое
бавше! его съ П. П., пока г. Пы-
пинъ еще не возгордится
своими членомъ ^{II} П. П. П.

ОЧЕРКИ ИЗЪ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Эта надпись дана П. П. Пикарскому
Статья вторая (*). П. Пыпинъ

Не забудьте надписать въ знакъ дружбы
этой съ Пикарскому съ Пыпинъ

II. РУССКІЯ РЕДАКЦИИ СРЕДНЕВѢКОВЫХЪ СКАЗАНІЙ ОБЪ АЛЕКСАНДРѢ.

Разобранная нами повесть, взятая изъ «Тысячи и Одной Ночи», при-
водитъ насъ къ любопытному вопросу въ исторіи старой нашей пись-
менности, который теперь снова обратился на себя вниманіе изслѣдо-
вателей. Тринацатое столѣтіе начало новый періодъ въ умственной и
правственной жизни древней Руси; вѣщія несчастія и стѣсненіе само-
блудной дѣятельности должны были отразиться и на памятникахъ дре-
вней нашей словесности, такъ-что эпоха татарскаго ига кладетъ между
ними рѣзкую грань. Съ тѣмъ вмѣстѣ, многія произведенія эпохи до-
татарской или совершенно погибли, или остались уединенными свидѣ-
телями того, въ какихъ размѣрахъ и въ какомъ направленіи могли
развиться эти начала, внезапно-остановленные въ своемъ распростране-
ніи. До насъ дошло только самое незначительное число рукописей отъ
того времени, и нѣтъ сомнѣнія, что это произошло не случайно; на-
противъ, гибель рукописей зависѣла именно отъ невыгодныхъ вѣщныхъ
обстоятельствъ. Съ потерю рукописей терялись и самыя сочиненія,
такъ-что нѣкоторые памятники существуютъ для насъ только въ до-
гадкахъ и предположеніяхъ, и трудъ изслѣдователя древнѣйшаго періода
нашей литературы теперь главнымъ образомъ есть трудъ реставратора.

Однимъ изъ любопытнѣйшихъ памятниковъ въ этомъ отношеніи мо-

(*). Первая статья напечатана въ № 2-мъ «Отечеств. Записокъ» 1855
года (томъ ХСVIII).

Т. СII. — Стл. II.

Александръ Николаевичъ Пыпинъ
Пикарскому въ знакъ дружбы
этой съ Пикарскому съ Пыпинъ

НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО П. П. ПЕКАРСКОМУ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ
«ОЧЕРКОВЪ ИЗЪ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» А. Н. ПЫПИНА (1855 г.):

«Александръ Николаевичъ Пыпинъ поручилъ мнѣ надписать, что передаетъ эту брошюру П. П. Пекарскому въ знакъ дружбы, связывавшей его съ П. П., пока г. Пыпинъ еще не возгордился своими учеными подвигами. Не хотѣлъ подписывать экземпляра, отдаваемого въ подарокъ, было бы невежливо со стороны обыкновеннаго человека. Но Гёте и Гриммы стоятъ выше суетныхъ условій вежливости. Н. Чернышевскій»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

а искусство, и притом по разнородности и сложности составных своих элементов едва ли не самое труднейшее из всех существующих искусств. А так как для солидного изучения всякого искусства, а военного, стало быть, и того больше, столько же необходимо основательное знакомство с технической его стороной, сколько и основательная общенаучная подготовка, то вывод отсюда прост: хорошенько изучай технику твоей специальности, но в то же время также ревностно заботься и об обогащении себя общенаучными познаниями; иначе, если ты и узнаешь ее, то разве настолько, сколько вывесочный маляр знает живопись, фельдшер — медицину, а дед, потешающий публику на масляничном балагане, — драматическое искусство». В настоящее время, как кажется, вывод этот, как и многое другое, не считается уже ни простым, ни верным. Но ведь я говорю про былое, а тогда мы признавали этот вывод за непререкаемую истину, какую не перестали признавать его на старости и теперь. А потому, изучая свою специальность, мы — на сколько-то хватало сил — всячески также заботились о расширении наших познаний по всеобщей истории, литературе, философии, законоведению и политической экономии. Первые два предмета, хотя и читались в академии, но из рук вон плохо, а последние и вовсе не входили в академический курс. Правда, все мы, бывшие кадеты, обучавшиеся по программам, приводившим, как известно, свою обширность в изумление даже самого Александра Гумбольдта, вынесли из корпусов по всем этим предметам сведения, но столь туманные, убогие, что уяснить, установить, расширить их являлось для нас делом важнейшей необходимости, хотя и далеко не легким. Тут мало было доброго желанья, усидчивого самоучения, толкований в товарищеском кружке: тут чувствовалась, сознавалась потребность в руководительстве, — по крайности, лично мной. Но где его искать?! Иринарха Ивановича Введенского, на которого, собираясь в академию, я возлагал все мои в этом отношении упования, давным-давно не было уже в живых. Мысль о знакомстве с его приятелем, Н. Г. Чернышевским, стала неотступно преследовать меня с самого дня поступления моего в академию. Но ведь Чернышевский был тогда уже не студентом, а литератором, успешным уже приобрести солидную известность и работающим в самом лучшем и распротраненном тогда журнале; следовательно, чтобы свести с ним знакомство, да притом — не шапочное, а близкое, какое собственно только и могло быть мне желательным, надобно было или иметь знакомых, знающих его и которые могли бы дать мне известную рекомендацию или — иметь какой-либо повод самому явиться к нему с визитом. Но — точно нарочно — в довольно многочисленном кругу знакомых моих не находилось ни души, знакомой с Чернышевским, да не было у меня повода и самому представиться ему. Написать какую-либо статейку с тем, чтобы только повести ее к нему для напечатания в «Современнике», не заботясь даже, будет или не будет она напечатана, — я, конечно, мог. Но у меня не выходили тогда из головы слова одного великого немецкого ученого, сказанные им молодому человеку, принесшему к нему свое сочинение: «Мы, господа, так уже много писали, что, право, пора бы нам и почитать», а потому я не решался на то, тем более, что и времени на писанье статей у меня не было. Пожалуй, можно еще было сделать ему визит под предлогом возобновления *прежнего* знакомства; но разве мимолетняя встреча у Введенского, случившаяся около семи лет тому назад, о которой он легко мог и совсем позабыть, могла быть признаваема мною за знакомство?! А такой визит разве не мог быть принят им — чего доброго! — за грубую навязчивость с моей стороны, а потому сразу же компрометировать меня пред ним?.. Нет, завязывать знакомство под подобным предлогом мне представлялось слишком рискованным, чтобы решиться на то... Позже, когда я узнал этого выходящего из ряда вон человека — не только по уму, учености, но

и по душевным качествам его, прямо, можно сказать, сотканным из благожеланий ближнему и бескорыстнейшей любви ко всему доброму, да и теперь, когда набрасываю эти воспоминания, мне становятся невыразимо смешными все эти мои размышления и приискивания предлогов познакомиться с ним, вместо которых проще всего было прямо идти к нему да и сказать, зачем именно, не ожидая, разумеется, ничего иного, кроме самого задушевного приема и готовности служить вам всем, чем он только мог. Но тогда я, хотя и хорошо помнил характеристику и пророчества о Николае Гавриловиче Иринарха Ивановича Введенского, лично все-таки его не знал, а потому колебался и тщетно подыскивал поводы к знакомству с ним, которые так, быть может, и не подыскал бы, не подверниись тут совершенно неожиданный случай — месяца этак через три по пребывании моем в Петербурге. Одним из сокурсников моих был Зигмунт Игнатьевич Сераковский, поручик Арзамасского драгунского полка, родом поляк, потянувший лет десять солдатскую ямку в оренбургских линейных батальонах, куда он был выслан рядовым из студентов Петербургского университета за участие в каком-то политическом деле¹². Впоследствии, в 1863 г. взятый в плен и тяжело раненный при разбитии польской банды, которую он командовал, Сераковский погиб в Вильно, на эшафоте, по обвинению в участии в вооруженном восстании в качестве офицера, находившегося на службе, какую он, уходя «до лясу», на беду себе не позаботился предварительно покинуть. Обстоятельство это, утягивавшее, конечно, до последней крайности вину Сераковского, послужило, между прочим, хотя и без малейшего к тому основания, поводом ко всевозможным грязным инсинуациям, долго пускавшимся в ход разными нашими патриотствующими пролазами и сплетниками не только противу академии, которую прошел Сераковский, противу всего корпуса офицеров, воспитывавшегося в ней, но даже и противу многих таких высокопоставленных лиц, как, например, Д. А. Милютин, имена которых, конечно, всегда будут произноситься не иначе, как с чувством глубокого уважения каждым порядочным и сколько-нибудь любящим свое отечество русским... Большой, открытый лоб, большие серо-голубые, живые и искрящиеся глаза, необыкновенные нервные и подвижность, страстная речь, возраст (ему было уже тогда около сорока лет)¹³ и, наконец, самый даже костюм, носимый с небрежностью людей, настолько поглощаемых какою-либо мыслью, что они едва знают, во что и как одеты, — таков был общий вид Сераковского, с первой же встречи невольно привлечший мое внимание к нему. Позже, хорошо познакомившись с ним, я нашел в нем горячего польского патриота, мечтавшего, впрочем, не о старой, а о новой Польше, — Польше будущего, и — что меня особенно изумляло в нем — не ставившего, подобно многим своим соотечественникам, которых я знал, своей «ойчизны» в передовом углу всего человечества, а отводившего ей лишь место равноправного члена в среде других славянских народностей. Это был положительно умный, очень образованный, много знавший, видевший и испытывавший на своем веку человек, но, несмотря на то и на свои годы, идеалист и мечтатель во вкусе крайних жирондистов и притом гуманист и добряк, детски, часто — прекомично, доверчивый и к людям, и к событиям, крайне легко увлекающийся и увлекаемый, способный тормозить, пожалуй, — возбуждать других, но не увлекать за собою, а только располагать их к себе, к своей собственной личности. В высшей мере живой, деятельный, хотя часто и жестоко страдавший от горловой болезни, которую мы в шутку прозывали «*maladie conventionnelle*»*, Сераковский имел во всех слоях петербургского общества обширнейшее знакомство, постоянно, бывало, то сам делая, то принимая визиты других

* Игра слов: «условной болезнью» и «болезнью Конвента» (франц.).

в своей квартирке, по обстановке и чистоте больше всего напоминавшей бивак, и где кого, кого только нельзя было встретить?!.. Тут бывали поэты, писатели, редакторы, художники, артисты, попы, патеры и муллы, помещики губерний северо- и юго-западных, малорусских и великорусских, книгопродавцы и владельцы типографий, высокопоставленные гражданские и военные чины, профессора и студенты, офицеры всех родов оружия, путешественники, доктора, сибиряки и оренбургцы, бывшие политическими ссылными и не бывшие ими, — ну, словом, чего хочешь, того спросишь! — Обменявшись с Сераковским, жившим по соседству со мною, первоначальными визитами, я так больше и не бывал у него, ограничивая знакомство наше встречами и беседами в академии. Но вот как-то раз заходит, или, правильнее, — влетает он ко мне, сразу же начиная укорять меня, что, живя рядом, я никогда не загляну к нему, что, изучая вместе одно дело, нельзя друг с другом не выдаться, что живая наука, живая жизнь — вовсе не антитезы и т. д. Через несколько дней после того, помнится, в какой-то праздник, я захожу к Сераковскому и, — представьте мое изумление! — встречаю у него Н. Г. Чернышевского, которого я мгновенно же узнал в числе пяти или шести других посетителей¹⁴. Оказалось, что Николай Гаврилович был с несколько запоздалым визитом у Сераковского, неоднократно уже посещавшего его, почему он и очень извинялся пред последним, ссылаясь на недосуг.

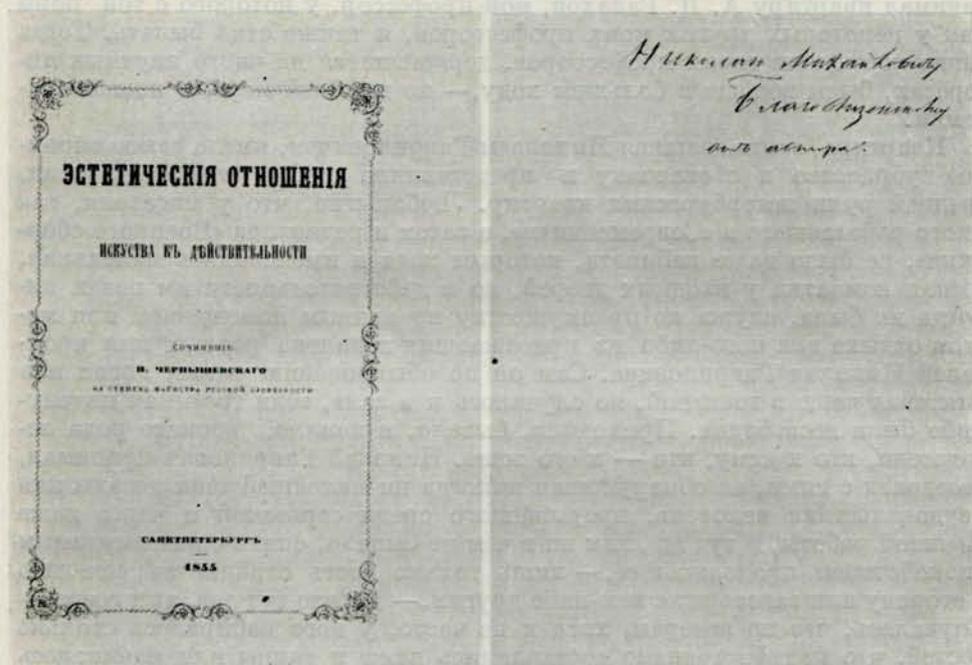
Семь почти лет, минувших с первой моей встречи с Николаем Гавриловичем, понятно, не могли не наложить на него своей руки: станом он сделался плотнее и как бы рослее; о свежем румянце на щеках не было и помину; волосы стали темнее и тусклее и носились им теперь *à la russe*. Но глаза смотрели по-прежнему, бороды и усов он, как и прежде, не носил и внешним своим видом вообще очень, очень еще походил на прежнего студента 51-го года¹⁵.

Сераковский представил нас друг другу. Мы разговорились.

Как и следовало ожидать, Николай Гаврилович не помнил нашей первой встречи, но с большою симпатиею вспоминал о покойном Иринархе Ивановиче Введенском, заливался хохотом при рассказе моем о тогдашней нашей попытке разыскать его студенческую квартиру, говоря, что он и поныне не может еще решить, что в ту пору больше затруднило бы его: указать свою квартиру, или принять кого в ней?.. — «Но зато теперь-с, если бы вы пожелали когда посетить меня, — добавил он, улыбаясь, — то могу вам указать мою квартиру уже с точностью... я живу... да вот для памяти позвольте мне вручить вам мою карточку». — И Николай Гаврилович принялся за розыск по всем карманам своих карточек, каковых — увы! — налицо не оказывалось. — «А я-то, — говорил он, раздражаясь своим звонким смехом, — собирался сегодня сделать еще два-три визита! Хорошо еще, что застал дома вас, Зигизмунд Игнатьевич...» — «Да я вас сейчас же выведу из затруднения, — спохватился Сераковский, — у меня есть готовые карточки, на которых сто́ит только написать свое имя!..» И он, со свойственною ему лихорадочною порывистостью, выхватив из стола карточки, мгновенно начал писать «Н. Г. Ч.» на одной, другой... пятой... десятой... — «Да постойте, постойте: Зигизмунд Игнатьевич, — ведь мне за глаза довольно и трех», — тщетно удерживал его Николай Гаврилович, помирая вместе с нами от хохоту. — «Пригодятся на случай, если вдруг опять потеряете или, наконец, пока вам сделают другие», — говорил на это Сераковский, с яростью продолжая делать надписи на карточках и второпях страшно забрызгивая их чернилами под звуки всеобщих взрывов хохота, пока, наконец, кто-то не овладел карточками и чернильницей... Через несколько минут после этой комической сцены с Сераковским, — а сколько таких, боже мой, можно было бы рассказать про него! — Николай Гаврилович уехал, сказав на прощанье мне:

— Может, заглянете вечером в четверг? По четвергам вечером я всегда бываю дома...

С этой собственно встречи началось мое знакомство с Николаем Гавриловичем, которое, постепенно переходя, не скажу — в дружбу, но в самые добрые и приятные отношения, непрерывно продолжалось до июня 60-го года, когда я выехал, и надолго, из Петербурга в провинцию. Оттуда, хотя и очень редко, раза два-три, я писал к нему и всякий раз получал ответы, хотя и незначительные по объему и содержанию, но о печальной утрате которых, тем не менее, до сих пор не перестаю сожалеть.



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ИЗДАНИИ ЕГО ДИССЕРТАЦИИ
«ЭСТЕТИЧЕСКІЕ ОТНОШЕНІЯ ИСКУССТВА КЪ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ», СПБ., 1855:

«Николаю Михайловичу Благовещенскому от автора»

Литературный музей, Москва

При одном из таких ответов я получил от него, между прочим, первую книгу 1-й части «Политической экономии» Ст. Милля, с примечаниями переводчика и с надписью: «Доброму другу»... Книга эта и по сию пору хранится у меня, как память о ее переводчице и о невозвратно минувших годах бодрой молодости, смелых надежд и верований в светлую будущность. С 60-го года, — значит, в течение почти 30-ти лет, мне довелось лишь оросить слезою две его рановременные могилы: одну — авторскую и гражданскую, в которую свалили его людские ненависть, зависть и непонимание, и другую — общечеловеческую, в которую он уже свалился сам после долгих, без жалоб, молча и гордо перенесенных и ничем не заслуженных нравственных и физических страданий, сломивших-таки его, вообще крепкий, организм, но, к изумлению, не подорвавших ни его таланта, ни широты и ясности ума, ни чистоты высоких стремлений. Но ни видется, ни переписываться ни с ним, ни даже знать многое о его печальной судьбе мне с той поры больше уже не доводилось.

Столько же по чувству деликатности, указывающей мне на необходимость прежде, нежели явиться на вечер, сделать утренний визит Николаю Гавриловичу — тем более, что, как я узнал от Сераковского, он был уже женат, — сколько и по нетерпению поскорее поговорить с ним по поводу занимавших тогда меня научных вопросов, я поехал к нему, не дожидаясь четверга, чуть ли не на другой день после моей встречи.

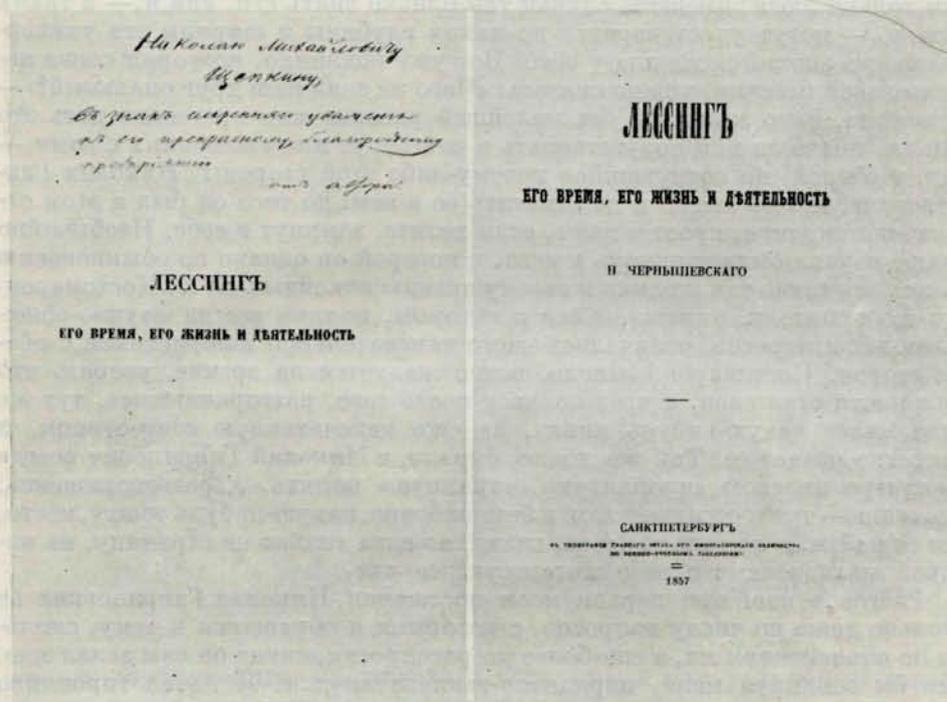
Он жил тогда, — да и все время моего знакомства, за исключением летних выездов на дачу — раз отлично помню на Петровский остров, а другой на ст. Любань, по Николаевской железной дороге, — в Поварском переулке, в доме Тулубьева, во втором этаже¹⁶. В третьем, как раз над ним, занимал квартиру А. Д. Галахов, мой профессор, у которого с той поры как у некоторых других моих профессоров, я также стал бывать. Тогда такие посещения своих профессоров, державшиеся на чисто научных интересах, были вообще в большом ходу, — по крайней мере, в нашей академии.

Квартира, занимавшаяся Николаем Гавриловичем, имела самое скромное убранство и обстановку и представляла собою тип недорогих, средней руки петербургских квартир. Любопытно, что у писателя, так много работавшего в «Современнике», а затем и редактора «Военного сборника», не было даже кабинета, которым хотя и именовалась маленькая, тесная комнатка у входных дверей, но в действительности им почти никогда не была, служа по преимуществу временным помещением или местом отдыха для кого-либо из приезжавших издалека родных или приятелей Николая Гавриловича. Сам он по обыкновению читал, писал или диктовал чаще в гостиной, но случалось и в зале, если гостиная почему-либо была несвободна. Приходили, бывало, и немало, всякого рода посетители, кто к нему, кто — к его жене. Николай Гаврилович принимал, беседовал с ними, не обнаруживая никогда ни малейшей тени досады или неудовольствия человека, прерываемого среди серьезной и часто даже спешной работы, и тут же, как ни в чем не бывало, опять с невозмутимым спокойствием продолжал ее, — лишь только гость отойдет за чем-либо в сторону или заговорит с кем-либо другим. — Да что тут два, три гостя! — Случалось, что по вечерам, хотя и не часто, у него набиралось столько гостей, что под фортепиано составлялись даже и танцы или начиналось пение. Катает, бывало, что есть силы по клавишам какой-либо пианист, кричит певец или молодежь пляшет, топают, шаркают, шумит в зале, а Николай Гаврилович сидит себе в гостиной, будто в какой-нибудь отдаленной и глухой пустыне и пишет да пишет... Поговорит, весело даже посмеется с кем-либо из влетевших к нему из зала и — опять пишет! Меня всегда поражал полнейший индифферентизм его ко всякому комфорту, но индифферентизм его даже уже не к комфорту, а к самым обыкновенным, простым условиям, необходимым для всякого при всякой работе, а при его работе по преимуществу, — как тогда для меня был, так и теперь остается неопостижимою тайною. Точно в нем совмещались два независимых друг от друга человека: один, живущий ординарно, вседневною жизнью, ничем от нее не уклоняющийся, всегда покойный, ко всем приветливый, разговорчивый, готовый всегда даже посмеяться, слегка поиронизировать, пошутить, и — другой, настолько ушедший в себя, в мысль, в науку и настолько поэтому непроницаемый для всего, его окружающего, что авторского процесса, шедшего в нем, не могло нарушить уже ничто, почему произведения его и появлялись, по-видимому, — будто богини из пены морской. Удивительный был это субъект даже для тех, кто знал его не как писателя, а как обыкновенного человека в его обычной обстановке!..

Те невыразимые добродушие и простота, с которыми я был встречен Николаем Гавриловичем с первого же шага моего появления в его доме, настолько ясно мне говорили, что за человека я встречаю в нем, что я, не

обинуясь, с первых же слов высказал ему побуждения, заставлявшие так нетерпеливо искать знакомство с ним.

— Так чего же было вам стесняться-то? — сказал он при этом с полуплутивым укором. — Ну, пришли бы просто да и сказали, в чем дело; а то вздумали еще визиты делать! Да, вы приходите всегда, когда нужно. Я ведь почти всегда дома, не говоря про четверги, как я вам докладывал-с... Очень буду рад, если чем-нибудь могу быть полезным вам... — И разговор наш прямо перешел к научным вопросам, занимавшим меня и сводившимся главнейше к тому: с чего по тому или другому предмету следует



ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ЕГО КНИГЕ
«ЛЕССИНГЪ, ЕГО ВРЕМЯ, ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ», СПБ. 1857 г

«Николаю Михайловичу Щепкину, в знак искреннего уважения к его прекрасному, благородному предприятию от автора»

Литературный музей, Москва

начинать чтение? что и где искать и найти можно? Как и с какой стороны подступать к изучению, и т. д. И сколько ценных указаний и советов я получил от Николая Гавриловича тут же, с этой первой моей беседы с ним, не говоря уже о тех, которые получал постоянно, почти систематично, в течение трехлетнего непрерывного знакомства с ним, — и всегда с такою благодушною готовностью, что я по чувству деликатности часто просто, бывало, даже колебался обращаться к нему за разъяснениями, боясь нарушить его занятия, которые им добровольно, кажется, не прерывались никогда. — «Вы прежде уже лучше скажите мне прямо, Николай Гаврилович, можно с вами потолковать минут этак с десяток, что, впрочем можно отложить и до другого раза?», — спрашиваешь, бывало, его через полуотворенную дверь. — «Можно, можно-с и теперь...» или — «поговорите немножко пока с Ольгой Сократовной, я — сейчас...» — бывали постоянные его ответы.

Говорить о чувствах, с тех пор зародившихся и живущих во мне к этому человеку, которому в деле моего образования я обязан так, как никому, я не стану: они умрут вместе со мной. Но как тут не вспомнить о «замечательно организованной голове», как когда-то охарактеризовал Введенский еще студентскую голову Чернышевского?— о той поистине универсальности знаний, какою она полна была, и как я в том невольно и убеждался, и изумлялся по самому роду сношений, в каких состоял с ним?.. Конечно, для людей, хорошо знакомых с произведениями Чернышевского и способных — хотя с некоторым только беспристрастием ценить их, мое свидетельство в этом отношении немного скажет. Но за всем тем только люди, имевшие случай так близко знать его, как я, — а таких немало, — могут удостоверить, до каких глубины и ширины эта универсальность знаний доходила у него! Вот уже подлинно, повторяя слова Некрасовской песенки, можно сказать: «Чего не знал наш друг опальный?»— И все это, надо заметить, без малейшей рисовки или претензии дать это так ли, иначе ли вам почувствовать в разговоре или сношениях с вами, — так, что иной, не коснувшийся почему-либо этой стороны Николая Гавриловича, мог бы легко и не заметить ее в нем: до того он был в этом отношении скромн, прост и даже, если хотите, замкнут в себе. Необычайно также велика была и память у него, к которой он однако по обыкновению относился точно так же, как к своему зрению покойный Н. И. Костомаров: его же приятель, разговоры его с которым, полные всегда научно-общественных интересов, отличались часто замечательной юмористикой с обеих сторон. Костомаров, бывало, вечно жалуется на зрение, уверяя, что уже почти стал слеп, и чрез полчаса после того, разгорячившись, тут же схватывает какую-нибудь книгу, да еще напечатанную стереотипом, и пребегло читает ее. Так же точно, бывало, и Николай Гаврилович всегда жалуется на свою «проклятую», «дрянную» память, а разговорившись, смотришь — тут же укажет вам, и безошибочно, какую-нибудь книгу, место, где ее найти, и не только часть, главу, но едва только не страницу, на которой находится что-либо интересующее вас.

Разговор наш при первом моем посещении Николая Гавриловича не столько даже по числу вопросов, с которыми я обращался к нему, сколько по объяснениям их, а еще более по расспросам, какие он сам делал мне, как бы зондируя меня, порядочно-таки затянулся. Я начал торопливо собираться. — «Да постоит, куда же это вы?».. Если свободны, — оставайтесь-ка обедать, — удерживал меня Николай Гаврилович, — ведь худо ли, хорошо ли, а обедать будете же?» — продолжал он смеясь. В эту минуту вошла к нам Ольга Сократовна.

— А что, голова, — обратился он к ней, — можешь ты угостить сегодня обедом твоего нового знакомого?

— Ну, конечно, и даже очень буду рада, если только он человек невзыскательный, — отвечала она.

— И прекрасно-с... значит нам остается только сесть да закурить...

Но едва только мы уселись, как раздался звонок: вошел Н. А. Некрасов, с которым я тут впервые познакомился. А не прошло и пяти минут, как крепко зазвонили вторично, и в залу вошел Сераковский с двумя приятелями. Не могу передать всех подробностей завязавшегося при этом разговора, вращавшегося главным образом на вопросах и новостях переживаемого тогда времени, но никогда не забуду своего рода, так сказать, *Sängerspropheteiung**, вырвавшегося при этом у Некрасова. — Речь шла о наступивших добрых временах, о надеждах, связывавшихся тогда с новым царствованием, начавшимся, слава богу, не с казней и ссылок, подобно предшествовавшему, а с амнистий, с милостей... С особенным, ему

* пророчество певца (нем.).

«ВОЕННЫЙ СБОРНИК», СПБ., 1858
 В РЕДАКТИРОВАНИИ ЭТОГО
 ИЗДАНИЯ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
 ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
 Титульный лист первого тома

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ
 ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛѢНІЮ

ПРИ ШТАБѢ СТАВЛЕНАГО ГРАНАДСКАГО КОРПУСА

ТОМЪ I

САИКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ПЕЧАТНІИ ПУДОВЫХЪ ПЕЧАТН.

1858

только свойственным, да отчасти и понятным в нем увлечением говорил на эту тему Сераковский, разрисовывающий яркими красками не только настоящее, но и перспективу будущего.— «Давай-то бог, Зигизмунт Игнатьевич, вашими устами мед пить... — заметил на это своим несколько хриплым и усталым голосом Некрасов, — а мне все как-то чудится, как бы нынешнее царствование не кончилось тем, чем предшествующее началось...»

По отъезде Некрасова и Сераковского с приятелями, мы сели за обед, во время которого, удивленный крайней воздержанностью в еде Николая Гавриловича, я невольно обратился к нему с вопросом, не болен ли он.— «У меня, изволите видеть, маленький катар», — отвечал он. «Ах, канашечка, — заметила при этом Ольга Сократовна, — да ты ведь постоянно ешь, как дышленок!..» — Не могу утвердительно сказать: действительно ли катар был тому причиною? Но только впоследствии, часто обедая у него и с ним у кого-нибудь, в истине слов Ольги Сократовны я вполне мог удостовериться: воздержанный и невзыскательный в пище, он едва ли еще не более был воздержан в напитках, из которых, кроме воды, молока и чаю, вряд ли что когда и употреблял?!.. Вот курить — так курил много...

Не знаю, по чьей именно мысли, но только по инициативе Военного министерства произошло в 58 г. превращение старого, никем в войсках

не читаемого, бесцветного ежемесячного специального издания «Военный журнал», — в новый журнал: «Военный сборник»¹⁷, с крайним радушием встреченный — не только военною, но и всею публикою вообще. С таким чувством встречалась, впрочем, в те дни всякая попытка, даже направленная так ли, иначе ли к улучшению или отмене всего старого, отжившего или отживающего, непригодность и бремя которого, дознанные по непосредственному опыту каждым, также тогда осуждались и всячески доказывались, как ныне доказываются разными умственными недоносками и ошалелыми обскурантами вся его полезность и прелесть. Не знаю также и того, по чьей, собственно, инициативе был приглашен к участию в редакции «Военного сборника» и Николай Гаврилович. Но, как бы то ни было, приглашение это было делом вполне основательным и много говорящим в пользу как скромности, так честности и заботливости по отношению к разрешению предстоявшей задачи двух военных редакторов нового журнала, если только приглашение Чернышевского в со товарищество к ним зависело от них, чего утверждать не стану.

Программа, направление и дух журнала, возникшего по инициативе министерства, во главе которого тогда стоял человек¹⁸, хотя уже и дряхлый, но энергически стремившийся к обновлению и улучшению нашей армии и производивший в ней одну реформу за другою, предreshались, так сказать, программю, направлением и духом деятельности самого же министерства. Создавая свой орган, оно желало, чтобы тот, служа — с одной стороны, — исследователем потребностей и нужд армии на основании изучения как прошлого, так и настоящего ее, — в то же время был бы популяризатором правильных современных познаний по военному искусству вообще, в чем армия крайне нуждалась; распространителем в ней истинных понятий о дисциплине, долге и службе, сводившихся до того к одним лишь формалистике, фухтельной выправке солдата и разным смотровым фокус-покусам; возбудителем в рядах армии вкусов к чтению и умственному вообще труду, облагораживающим ее стремления и поднимающим ее дух, и, наконец, докладчиком ей о том, что делается по устройству и образованию вооруженных сил в других странах белого света, о чем до того в нее не проникало ни слуха, ни духа. И ничего, ровно ничего, кроме стремления к самому добросовестному выполнению таких высоко-разумных целей министерства, не входило и в помыслы обоих военных редакторов, этих главных заправил нового журнала, прекрасно понимавших всю неуместность, ненужность и даже просто нелепость каких бы то ни было тенденций к удалению куда-либо в сторону от поставленной им задачи, к которой к тому же они относились с полным сочувствием людей, горячо преданных и отечеству, и его армии, и ее всяческим интересам. Да и о каких тенденциях и зловерном направлении могла быть речь в суждениях о журнале — не только официальном, министерском, но еще и находившемся под недремлющим оком самой строгой из цензур военной?!.. Совершенно так же, как военные редакторы, смотрел на дело и их «штатский» брат, Чернышевский, приглашенный и пошедший в редакторы «Военного сборника» вовсе не с целью придавать ему то или другое направление, чего от Чернышевского¹⁹, как не военного специалиста, при всем его могучем универсализме, смешно было бы и требовать, а по побуждениям совсем иного рода.

Дело в том, что военные редакторы, оба серьезно занятые в академии по своим профессорским должностям да, кроме того, еще и по службе, положительно не имели ни достаточно времени, чтобы взять на себя всю многотрудную и сложную работу по ведению журнала, ни достаточной для того опытности, какую Чернышевский обладал тогда уже вполне. Далее, преследуя не какие-нибудь меркантильные целишки и заботясь всячески о достоинствах своего журнала, они в лице такого соредатора

как Чернышевский приобретали не только огромную силу для литературной обработки журнальных статей, но и отличного, замечательного знатока европейских языков, составителя иностранных обзоров. Наконец, самая постановка имени Чернышевского, тогда уже известного писателя и сотрудника наиболее тогда распространенного и любимого публикою «Современника», рядом с именами двух других редакторов, хотя очень уважаемых в министерстве и академии, по людей, в армии и обществе тогда никому еще не известных, приносила новому журналу весьма немаловажную услугу, служа ему своего рода рекомендацією, удостоверяющею читателей, что новый журнал будет уже не тем, чем был его предшественник, служивший им не столько для чтения, сколько для завертывания в походе жареной курицы или московской колбасы... — И пошел новый журнал, во всех отношениях прекрасно редижируемый и издаваемый, — пошел так, как подавай бог и ему век бы идти. Но... но маленькие тучки, разросшиеся ныне до непроглядных туч, заволокли все небо, тогда уже появились на светлом и радужном горизонте русской жизни!..

Не прошло и несколько месяцев с появления юного журнала, любая из статей которого могла бы быть без малейшего колебания и даже с радостью напечатана в любом из ныне существующих повременных изданий до «Гражданина» или даже до самого «Военного сборника» включительно, как на него, словно град, посыпались уже всяческие, хотя, правда, непечатные инсинуации. Укоряли юный журнал — ни более, ни менее — как в предумышленном распатывании дисциплины (это по поводу статейки, указывавшей на крайние злоупотребления в войсковом хозяйстве, пользовавшиеся тогда всеобщей известностью²⁰); в унижении высокопоставленных лиц и учреждений (а это по поводу другой статейки, рассказывавшей про хищения во время Крымской войны чинов интендантского ведомства, над которыми, кстати, тогда производилось следствие²¹) и т. д., и т. д.; причем гг. инсинуаторы, не особенно-то стеснявшиеся в набрасывании тени неблагонадежности даже на таких лиц, как военные редакторы, за которых и было кому да которые отчасти и сами могли постоять за себя, тем с большею, разумеется, развязностью очерняли третьего «штатского», к высшим сферам доступа не имевшего, и который, по заявлению их, именно и был-то корнем всего зла.

Есть много оснований, если не утверждать, то предполагать, что мотивами ко всей этой инсинуационной игре, прикрываемой, как это всегда бывает в подобных случаях, чувствами преданности и патриотизма, в действительности послужили — не что иное, как мелкие, себялюбивые и корыстные расчеты некоторых лиц, стоявших в тени и желавших выскочить, оставшихся в стороне, на малом содержании и потому алкавших завладеть видным местом военных редакторов «Сборника», по тогдашнему весьма, и весьма даже не дурно оплачиваемых... Говорили — по крайности, в ту пору, — что многие из этих инсинуаций делались лицами, не только их не писавшими, но вряд ли даже читавшими как их, так и «Военный сборник», а только их подписывавшими в твердом уповании на высокие достоинства скромных и им только известных действительных авторов их, что, замечу мимоходом, очень и очень похоже на правду... Но как бы там однако ни было, и хотя к всеобщему изумлению их даже печатали, но дело было сделано: из рук прежней, первой редакции, с 1 января 59 г. издание «Военного сборника» перешло в руки новой, другой.

Вступление Николая Гавриловича в редакцию «Военного сборника» не произвело никакой перемены ни в образе его домашней жизни, ни в общественных отношениях, ни в отношениях к «Современнику», где он по-прежнему неутомимо работал вместе с таким же работником и с такою же, как он, высокодаровитую личностью, Н. А. Добролюбовым. Несколько

только увеличился персонал его знакомых и посетителей как вседневных, так и по вечерам в четверги, когда у него по обыкновению запросто собирался небольшой круг. Как хватало у Николая Гавриловича сил на работу, в которую он тогда всецело был погружен, это уже его тайна; но только в это именно время шла речь еще и о другой предстоявшей ему и Добролюбову работе, которой оба они ожидали не только без страха, но даже с радостью. Дело, изволите видеть, шло о приобретении Некрасовым с торгов «Русского инвалида», тогда еще большой литературно-политической газеты, находившейся тогда в жалком состоянии, взять которую в свои руки и поднять входило в планы Некрасова в расчете, разумеется, на содействие таких публицистических сил, как Чернышевский и Добролюбов, но что, к сожалению, по многим причинам не вышло, однако²².

Не произвел, по-видимому, никакой перемены во всех этих отношениях и выход Николая Гавриловича из редакции «Военного сборника»; но это только пока... Непечатные инсинуации, преследовавшие, как замечено выше, чисто меркантильные цели и послужившие поводом к этому выходу весьма, быть может, и не имели вовсе в виду компрометировать — а тем более губить Чернышевского, но тем не менее они сразу поставили его под жесткий Index*, а главное — сильно вздобрали почву для дальнейших его инкриминаций. Обстоятельство это, ускользнувшее вначале от внимания не только друзей и приятелей Николая Гавриловича, но, как кажется, и его самого, не ускользнуло однако от зорких очей его учено-литературных и всяческих других недругов, — людей, как говорится, вообще без предрассудков, которые, воспользовавшись готовою уже к тому почвою, мало-помалу печатно и непечатно и не преминули в конце концов воздвигнуть противу Чернышевского тот эшафодаж** всяческих недостойных поношений и обвинений, в результате которых... о, срам! о ужас! — этот высокодаровитый и глубокоученый мыслитель и экономист, долженствовавший занять одно из первых мест среди европейских светил политико-экономической науки, являлся не более, как пустым фантазером, полупомешанным болтуном, вроде тех, что за границу издают глупые книжонки, никем не читаемые! Этот блестящий, прозорливый публицист, популяризатор величайших открытий новейшей науки, этот критик и беллетрист — вносителем субверсивных*** идей, сеятелем смуты в умах! Этот, наконец, серьезный кабинетный работник, едва находивший время для отдыха от своих трудов, этот образцовый семьянин и добряк, в жизнь свою не посягавший на жизнь червяка, — союзником каких-то проходимцев-революционеров, подбивателем молодежи на политические преступления и пропаганду с девизом: «Ломай, режь и жги все!»... И это все Чернышевский-то, так любивший и науку, и искусства, и Россию, и человечество, и молодежь, и так всегда готовый, несмотря на свою работу, которую единственно обеспечивалось существование его и его семьи, по целым часам толковать о ней, терпеливо объясняя: что читать? как читать? как надо работать и учиться?!..

«Знаете ли, — говорила мне одна высокопоставленная и почтенная личность, имевшая случай хорошо знать Николая Гавриловича и всю его историю, ныне уже давно покойная, — будь я великим драматургом, я непременно взял бы его сюжетом моей трагедии, но, по крайней мере, при своей жизни не дозволил бы ее играть на сцене из страха свести зрителей с ума от горя, от негодования и ужаса...».

Бог, в неизреченном милосердии всепрощающий, конечно, простит и инкриминаторов, погубивших Чернышевского. Вероятно, еще при

* Index librorum prohibitorum (Указатель запрещенных книг). — *Ред.*

** набор (от франц. «échafaudage»).

*** пагубных (от франц. «subversif»).

жизни своей он простил их и сам, сказав по своему обыкновению: «Ну, что же тут делать-с? Все это в порядке вещей...». Но потомство, но история, — хочется крепко верить, — не простит этим людям никогда!..

Вспомнив выше и даже неоднократно о приемных вечерах, бывших по четвергам у Николая Гавриловича, нельзя не сказать несколько слов и о посетителях их. Разумеется, говорю не о той беззаботной молодежи, которая собиралась весело поговорить, потанцевать, попеть к Ольге Сократовне, тогда еще очень молодой, веселой и беззаботной, но о той молодежи и немолодежи, что группировалась, бывало, около самого хозяина. Все это были люди, столько же сочувственно относившиеся к прогрессивному движению, охватывавшему в те времена все слои общества, сколько к «Современнику» и главнейшим его сотрудникам, бывшим лучшими выразителями этого движения, хотя не все с одинаковым доверием относившиеся к силе и прочности последнего, да и не все по некоторым литературно-политическим вопросам вполне друг с другом солидарные.

Бывал на этих вечерах и И. С. Тургенев, хотя и редко, как не часто бывали на них И. И. Панаев и Н. И. Костомаров, которого, как равно и Некрасова, мне чаще доводилось встречать у Николая Гавриловича по утрам. Очень часто бывали тут А. Д. Галахов, которому для этого стоило только сойти несколько ступеней лестницы, К. Д. Кавелин, В. И. Ламанский, П. П. Пекарский, П. В. Анненков, Дмитриев²³, тогда



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА КАТОРГЕ

Эскиз маслом к картине «Прощание с Европой» польского художника А. Сохачевского, 1863—1882 гг.

Исторический музей, Варшава

профессор, часто приезжавший почему-то из Москвы, покойный профессор Утин, редакторы «Военного сборника» и некоторые другие военно-академические профессора, А. Ф. Погосский, Г. И. Городков, Сераковский, всегда привозивший с собою кого-либо из своих земляков, и многие еще другие, так или иначе соприкосновенные с литературою, наукою или редакциями обоих журналов, где работал Николай Гаврилович, имена которых теперь уже и не припомнить. Добролюбов, сколько помню, был на этих вечерах всегда почти, как и ваш покорный слуга.

Скромные, бесцеремонные, с одним лишь чаем с тартинками, вечера эти, тем не менее, всегда почти отличались не только занимательностью, но и большою оживленностью, что, конечно, прежде всего обуславливалось полною порядочностью людей, собиравшихся на них, на которых каждый мог рассказывать ли что или высказаться по поводу чего-либо с полною непринужденностью, не оглядываясь на соприсуших, как это обыкновенно бывает на наших собраниях да как, к сожалению, нередко и бывало, а особенно последнее время на вечерах по вторникам у покойного Н. И. Костомарова, у которого иногда собиралась уму непостижимая по своей разношерстности смесь всякого люда. Но так как вечера Чернышевского не носили на себе ни тени характера каких-либо специально научных, литературных или политических собраний, то и содержание их, понятно, заключалось — не в обсуждении каких-либо поочередно, систематически выставляемых вопросов, не в чтении рефератов, произнесении речей и принятии решений, а в простых чисто приятельских беседах, совершенно случайно вращавшихся то на интересах дня, то на интересах науки, литературы или политики, а потому, естественно, и носивших на себе характер не более как простого времяпрепровождения, хотя часто во многих отношениях и весьма серьезного, но и, в общем, — бесследного. — «Ну и что же, какой прок из всех этих прекрасных разговоров между прекрасными, все так прекрасно понимающими людьми?!..», — говаривал, бывало, мне Добролюбов, не отличавший слова от дела, когда мы после этих беседований, идя с ним по опустелым улицам, возвращались домой. Сказать, кто более других на этих вечерах говорил или побуждал к дебатам, случалось, возникавшим тут, но никогда не принимавшим острого характера, а тем более никогда не приводившим к размолвкам, — трудно; но только — не хозяин, хотя никогда и не уклонявшийся ни от разговоров, ни от возражений, а еще того больше — не Добролюбов, по большей части слушавший, наблюдавший и только изредка вставлявший при этом какое-либо свое замечание, всегда столько же разумное, сколько и меткое, острое...

Воспоминанием о этих вечерах я и закончу повествование о моем знакомстве с Чернышевским, личность которого при этом я пытался изобразить без малейших ретушевок, — так, как она в моей памяти запечатлелась. Ни удлинять, ни испещрять это повествование, и без того уже растянувшееся, какими-либо мелкими рассказами или анекдотами, почерпнутыми из жизни Николая Гавриловича, я не стану, как потому, что, говоря по правде, немного в этом отношении сохранилось у меня в памяти, так и потому, что все подобные рассказы и анекдоты считаю ненужным балластом: зачем они?.. Человек громадных способностей, учености, неустанного труда, железной воли, неподкупной честности и глубоких убеждений, которым он всю жизнь не изменял ни в чем никогда, Чернышевский был во многом, и особенно в этом последнем отношении, такую, можно сказать, феноменальную личность в наших литературе и обществе и притом такую, что называется, — *цельною* личностью, что для верной оценки и характеристики его идеалов и его литературно-обществен-

ного значения, нужны не анекдоты про него, а серьезное изучение и понимание эпохи, народившей и создавшей его — с одной стороны, а с другой, — такие же изучение и понимание его произведений. Конечно, далеко не все, чем были богаты его ум и талант и чем кипело любящее сердце его, сказано в этих произведениях, роковым образом к тому же прервавшихся в лучшую пору его интеллектуальных и физических сил, но, за всем тем, думаю, что в произведениях своих он весь.

Говоря когда-то* о смертельной вражде политических партий при Луи-Филиппе и о кровавых происшествиях 5 и 6 июня 1832 г. — этой, по выражению Чернышевского, «вредной растрате собственных сил и общественных средств в бесплодных катастрофах», — он далее говорит, «что есть другой, гораздо *спокойнейший* путь к разрешению общественных вопросов, путь ученого исследования; и надобно было бы не *бесславить* тех немногих людей, которые работают на этом пути за всех нас, увлекающихся пристрастием к внешним событиям и к эффектному драматизму собственно так называемой политической истории». «Но, — продолжает Чернышевский, — мы обыкновенно не помним и этого. Мыслители, отыскивающие средства к отстранению тех недостатков, из которых происходят губительные для всего общества катастрофы, подвергаются насмешкам и клеветам общества, которому хотят помочь...».

Чернышевский прежде всего и был именно одним из таких немногих мыслителей, за что и подвергался, подобно всем им, от общества, которому хотел служить, насмешкам и клеветам, да, увы! и не одним только насмешкам и клеветам...

II

Немногое, как видите, мой дорогой Александр Николаевич, я рассказывал вам про Чернышевского. Немногое расскажу и про Добролюбова²⁴, образ которого в моем воображении не только наяву, но даже, — вы поверите ли тому? — во сне никогда не являлся без образа Чернышевского, как и наоборот!.. Да и многое ли можно рассказать про этих двух людей, живших не столько внешнею, сколько внутреннею жизнью, ставивших благо общественное важнейшею целью своего существования и в отплату за то страшившихся не только того, чтобы жизнь, но чтобы и сама смерть-то не разыграла «какой-нибудь обидной шутки» над ними?!.. «Боюсь, — умирая, говорит Добролюбов, —

Чтоб над холодным трупом
Не пролилось горячих слез,
Чтоб кто-нибудь в усердьи глупом
На гроб цветов мне не принес, —
Чтоб все, чего я ждал так жадно
И так напрасно, я живой,
Не улыбнулося отрадно,
Над гробовой моей доской»²⁵.

Впервые я и встретился и познакомился с Добролюбовым у Чернышевского. Это было вскоре за появлением первых статей Добролюбова, которые, сразу же обратив на себя внимание, вначале весьма многими приписывались перу Чернышевского.

Я не разделял такого мнения, почему прямо и обратился к Николаю Гавриловичу за разъяснением.

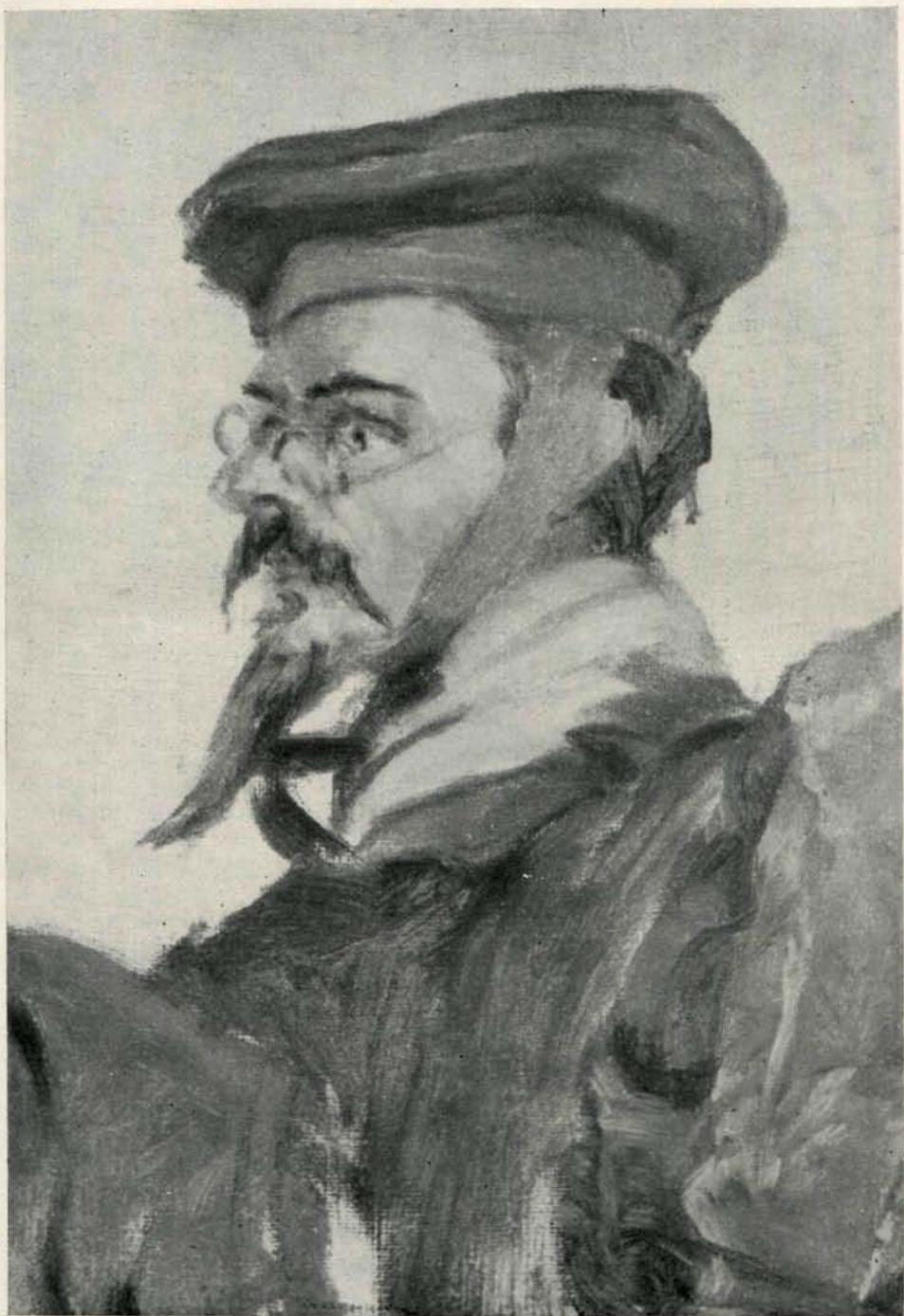
Николай Гаврилович тотчас же открыл мне этот секрет, который, впрочем, весьма недолгое время оставался секретом и для публики,

* См. «Современник», 1860 г., кн. 2, «Июльская монархия», стр. 736—737. — *Прим. Новицкого.*

несмотря даже на то, что, за исключением немногих, да и то позднейших статей, подписывавшихся: *Н. -бов*, прочие статьи Добролюбова печатались им без подписи²⁶. Да оно и понятно. Несмотря на полную принципиальную солидарность мировоззрений Чернышевского и Добролюбова, своеобразность и оригинальность последнего были слишком велики, чтобы понимающая читающая публика могла долго оставаться в недоумении и не заметить в статьях Добролюбова — хотя и талантливую, но все же не Чернышевского, а чью-то другую руку, которую она и не замедлила разыскать. С своей стороны, такое недоумение публики я готов объяснять не столько даже отсутствием или малою развитостью в ней литературных вкусов и чутья, сколько неожиданностью, появлением перед нею, да притом рядом с одним, уже существовавшим, другого таланта, который вдруг будто с неба свалился, что в истории литератур почти никогда не бывает, но что в данном случае, однако, было, — так как Добролюбов, несмотря на свое *incognito*, вступал на литературное поле так, как вступают в свои владения владельцы, в праве которых никто не сомневается.

Мне редко удавалось в моей жизни встречать людей, более деликатных, во всем сдержанных, несмотря на всю страстность и восприимчивость своей глубоко поэтической натуры, более скромных, несмотря на громадный ум и чувство самой гордой независимости, и в то же время более нежно добрых без малейшей сентиментальности, чем Н. А. Добролюбов, который как по всем приемам, так и по манере, с какими он держал себя везде и со всеми, скорее заставлял предполагать в нем сына какой-либо традиционно интеллигентной, высоко аристократической семьи, чем сына бедного священника. Самый искренний демократ по убеждениям и нравам, человек этот по душе и сердцу был аристократом, но не в вульгарном а в настоящем значении этого слова. Довольно хорошего роста, не крепкого, но статного сложения, с густыми, слегка вьющимися темно-каштановыми волосами, с умными, добрыми глазами, пронизательно смотрящими чрез очки, с спокойными — я сказал бы даже — элегантными движениями и речью, Добролюбов был не столько красивою, сколько в высшей мере симпатичною, сразу же располагающею к себе личностью, — настолько же умственно, нравственно и физически похожею на Базарова, в лице которого будто бы Тургенев хотел изобразить ее, насколько сам Тургенев походил, — ну, на кого бы примерно? — ну, да хотя бы на Поль де Кока, Ключникова, бывших и нынешних редакторов «Московских ведомостей», или, пожалуй, даже на редактора «Гражданина». Откровенно говоря, я и не упомянул бы о этой параллели, проводимой между Добролюбовым и Базаровым, не проводись она — несмотря на всю свою бессмысленность, пошлость и оскорбительность для памяти как Добролюбова, так даже и самого Тургенева — и по сию пору разными литературными идиотами или маклаками и не повторяйся она вслед за ними разными воронами и галками, которыми и всегда-то кишело, а уже ныне особенно, наше оголтелое так называемое общество...

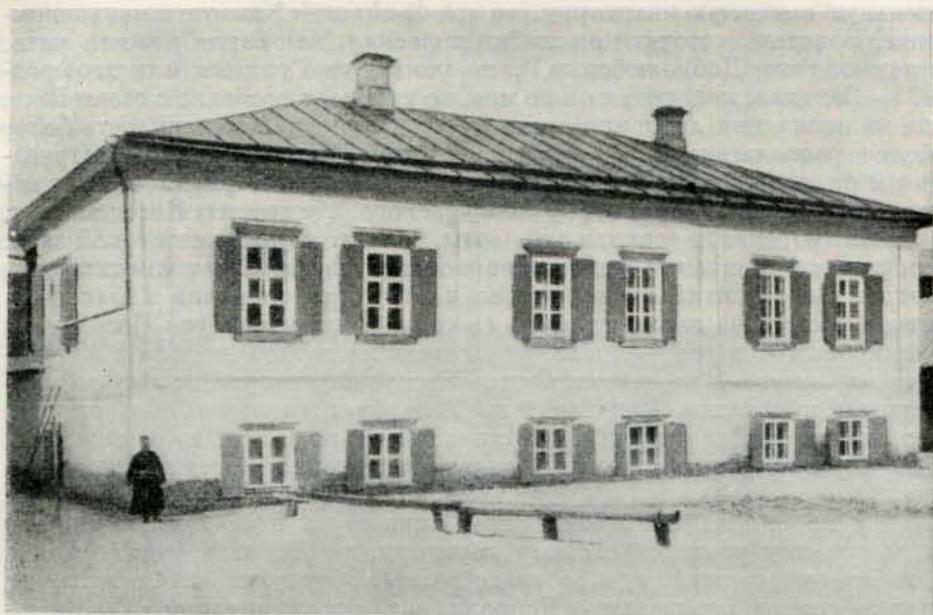
От общества и общественной жизни, делами которых Добролюбов, понятно, очень интересовался, он держался вообще далеко. Но это не по нелюдимости или застенчивости, которых у него вовсе не было в натуре, а скорее по увлечению, с каким он отдавался литературным занятиям, составлявшим его призвание, а также — по причине той тяжелой, денной и ночной, почти непрерывной работы, которую он, подобно Чернышевскому, на себе нес. Ведь работал он не над одними своими произведениями, которые к тому же нередко по требованиям цензуры, то сокращавшей, безобразившей, то даже вовсе не допускавшей их, приходилось ему по многу раз переделывать, что невообразимо мучило, изводило его, но еще по редакции над массою произведений и других. А при такой работе до сближения ли с обществом было ему?!.. Не могу сказать, чтобы



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА КАТОРГЕ

Портрет маслом, написанный по зарисовке с натуры польским художником А. Сохачевским. Фрагмент эскиза картины «Прощание с Европой». (Сосланный в 1863 г. в Сибирь за участие в польском революционном движении, Сохачевский отбывал каторгу в Усолье Иркутском. Здесь в июле 1864 г. он мог видеть Чернышевского)

Исторический музей, Варшава



ДОМ А. М. НИКОЛЬСКОГО НА СОБОРНОЙ УЛИЦЕ В САРАТОВЕ (НЫНЕ НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ). ЗДЕСЬ ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ И УМЕР ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Фотография

«Исторический вестник», 1905 г., декабрь

такая работа была результатом эксплуатации Добролюбова редакцией «Современника», так как по поводу этого, несмотря на близость наших отношений, я не слышал никогда от него даже намека на жалобу; но — будь эта работа даже и добровольною, тем не менее она, жестоко подкапывая его организм, настолько заполняла его, что у него еле-еле оставалось, как говорится, — пара минут, чтобы перевести дух, подумать о своих делах или своем слабом здоровье, повидаться и побеседовать с приятелями. Помнится, мне удалось как-то раза два подряд потащить Николая Александровича в театр да раз на прогулку за город, а Некрасову дозвучь его с собой на обед в английский клуб, так, боже мой! — сколько шуток и смеху у всех нас, начиная с самого Добролюбова, вызвали эти выезды его, которые Николай Гаврилович, заливаясь своим звонким хохотом, называл: событиями, неопровержимо свидетельствующими о дурных наклонностях Добролюбова к рассеянной светской жизни, а сам Добролюбов объяснял — отсутствием в нем силы противления соблазнам, расставляемым противу него, подобно сетям, злоумышленными людьми...

Нелегко и не вдруг сближался он и с людьми, но, раз уверившись в них и сблизившись с ними, привязывался к ним со всею искренностью, оставался так же неизменно верным им, как и своим идеалам.

— Что вы никогда не заглянете ко мне? — сказал мне раз Добролюбов, — месяца этак чрез три после нашего знакомства²⁷, прощаясь со мною на углу Невского и Владимирской, докуда мы дошли с ним, возвращаясь по домам после одного из вечеров у Чернышевского. — Будь я свободнее, я и сам давно зашел бы к вам. Не визитами же, в самом деле, считаться нам! А вы все-таки более можете располагать временем, чем я...

Вскоре я и зашел к нему. Он жил тогда на Моховой, — не помню в чьем доме, но неподалеку только от Пантелеймоновской, занимая небольшую,

чистенькую и светлую квартирку, au rez-de-chaussée* вместе с мальчиком-братом, Володею, которого он любил и ласкал, как самая нежная мать, и с дядею, тоже Добролюбовым²⁸, не помню уже родным или двоюродным? — Заходил, конечно, и он ко мне, но я чаще, а особенно с осени 59 г., когда по окончании академического курса я приобрел возможность более свободно располагать моим временем. Кроме Чернышевского, встречались мы иногда у К. Д. Кавелина и еще реже у некоторых холостых наших приятелей, как, например, у Сераковского, и у других. Посещали мы, хотя все это изредка, и театр, и концерты, бывшие в университетской зале, в которых всегда с такою милою готовностью участвовали знаменитейшие из певцов и певиц итальянской оперы, и некоторые собрания в пассаже... Были мы вместе на знаменитом по своему комизму диспуте Погодина с Костомаровым²⁹, и раз — право, уже совсем не помню, по какой побудительной причине — на лекции Сухомлинова, на которой почему-то присутствовал и тогдашний попечитель Петербургского учебного округа, нынешний граф Делянов. О лекции этой я, пожалуй, и не вспомнил бы, не случись тут маленький инцидент, крепко засевший в моей памяти.

Когда по окончании лекции все, бывшие на ней, густою толпою шли по тесному университетскому коридору, то Делянов, тогда сильно еще либеральничавший, идя во главе толпы, обернулся как-то назад и, увидав за спиною его шедшего Добролюбова, с восклицанием «А! да и вы тут?» — протянул ему, как старому знакомому, руку и вступил с ним в разговор, в конце которого заявил надежду о скором оставлении им места попечителя. — «И знаете ли, — добавил он, приостанавливаясь при этом, — оставляю свой пост не только без сожаления, но даже с радостью!» — «Чтобы, так сказать, еще более преувеличить в вас это последнее чувство, остается только предположить, что с таким же точно, пожалуй, чувством, и с вами расстанутся округ, университет и литература», — заметил ему на это Добролюбов. Разумеется, при этих словах все, тут близко стоявшие, разразились хохотом, которым разразился и сам Делянов, шутливо грозя Добролюбову пальцем и говоря: «Все такой же, как был и в институте, неугомонный язычок!..»

Приведу, кстати, здесь уже и другой инцидент, более, впрочем, интересный, чем рассказанный, и которому я был случайным свидетелем.

Как-то раз утром был я у Добролюбова. Толковали мы по обыкновению о многом и, между прочим, о нелепых прицепках цензуры, рассказывая про которые, Николай Александрович показал мне корректурный лист того места «Reisebilder»**, где Гейне, восхищенный знаменитою Дрезденскою мадонною, восклицает, обращаясь к ней: «О, чудесная дева Мария!» — Так цензор, находя такое восклицание неуместным, зачеркнул его, проектируя заменить: «О, чудесная дева Анна?!..»³⁰

Перешли мы затем к только что тогда написанному добролюбовскому «Темному царству», как в эту минуту раздается звонок и в дверях появляется, — кто бы вы думали? — сам А. Н. Островский!! Я тут в первый раз да, к сожалению, и в последний раз в моей жизни видел Островского, произведшего на меня при этом самое приятное впечатление.

Конечно, я теперь не могу уже ни в подробностях, ни тем более дословно передать разговора его с Добролюбовым, длившегося, полагаю, более часу, но я отлично сохраняю в памяти ту горячую, неподдельную благодарность, какую он выражал Добролюбову за его «Темное царство», говоря, что он был — *первый и единственный* критик, не только вполне понявший и оценивший его «писательство», как назвал Островский свои произведения, но еще и *проливающий* свет на избранный им путь...

* в нижнем этаже (франц.).

** «Путевых картин» (нем.).

— Ну, знаете ли, Николай Александрович, — обратился я к нему, когда уехал Островский, — я столько же радуюсь оценке, сделанной Островским вашему «Темному царству», как сам он доволен им, если только, конечно, слова его искренни, в чем, кажется, едва ли может быть сомнение?!

— Да, оно не хотелось бы, говоря по правде, сомневаться в том и мне, — заметил на это Добролюбов, — да только, как тут поймешь и разберешь всех этих литературных генералов, которые, поверьте, хуже во сто крат ваших Бетрищевых: до того они все щепетильны и готовы видеть в каждом слове честной критики посягательство на их имя, на славу!!.



ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ

Фотография И. М. Егерев

На обороте надпись рукой О. С. Чернышевской от 24 декабря 1889 г., свидетельствующая, что фотография была подарена ею О. М. Антонович

Другой экземпляр этой фотографии был послан А. Н. Пыпиным Н. Д. Новицкому

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Ровесники почти по летам, мы — чем далее, тем более сближались не по профессии, конечно, а по общности взглядов на жизнь вообще, а на нашу, русскую, в особенности, и отношения наши, установившиеся на этой почве, не прерывались и после разлуки нашей, последовавшей в 60 г., когда я уехал в далекую провинцию, а он — за границу, где оставался почти год. — «Товарищ! жди, придет она, пора пленительного счастья», — говорили мы, бывало, готовясь к далекой и долгой разлуке, порешая лет этак чрез пять — обязательно свидеться, чтобы проверить себя, свои наблюдения и заметки, сосчитать с собственными силами...

Добролюбов уезжал из Петербурга ранее меня; а потому, собираясь провожать его, я, уходя от него за день до его отъезда, после беседы, затянувшейся за полночь, даже и не прощался с ним. Совершенно однако не зависящие от меня обстоятельства воспрепятствовали мне поехать на

проводы его, что до того как-то болезненно досадовало и огорчало меня, что я написал даже вскоре после его отъезда письмо к нему по этому поводу: точно какое-то темное чувство говорило мне, что более нам уже не свидеться никогда! — Говорю: темное, так как положительных данных к тому не было. Здоровье Добролюбова, особенно часто начавшего похвляться по весне 59 года, вообще было не из крепких. Необходимость не только отдыха, но даже и леченья где-либо в теплом климате, за границей, признавалась как докторами, так и друзьями его, настойчиво уговаривавшими его, а особенно в виду некоторого неглижерства с его стороны о своем здоровье, послушаться указаний первых. Но из всего этого далеко еще было до предположений о серьезной опасности, грозившей уже его жизни, — тем более, что он, поправившись летом, и сам, видимо, не думал о ней, почему не без долгих колебаний и даже почти нехотя решился, наконец, на заграничную поездку.

На мое письмецо я к великой моей радости в ноябре, когда уже находился в провинции, в г. Елизаветграде, получил от него ответ. Ответ этот, как равно и два письмеца Чернышевского, к прискорбию, погибли вместе с саком, где они находились, при одном из моих бесконечных переездов. Но я, чуть-чуть только не дословно, помню это письмо Добролюбова. Оно начиналось с упрека, делаемого мне им за «галантно-московские» объяснения, как он называл мое письмо по поводу обстоятельств, воспрепятствовавших мне провожать его, и какие он признавал излишними при отношениях, установившихся между нами. Далее, сказав несколько слов о своем здоровье, на которое он, впрочем, не особенно жалуется, он переходит затем прямо к впечатлениям, навеянными на него тогдашнею только что освободившеюся Италиєю. Впечатления эти невеселы. Добролюбов негодует на положение в Италии вещей, при котором власть, видимо, окончательно утверждается не в руках людей, стоявших всегда во главе движения и создавших освобождение и объединение своей родины, а в руках разных «политиканствующих постепенцев»; причем он резко отзывается и о Кавуре, и о Риказоли, и о парламенте, который называет «говорильнею», — слово услышанное мною тогда от Добролюбова *впервые*, повторенное им затем в одной из статей его³¹, и которое, подобно тургеневскому «нигилизму», быстро впоследствии было облюбовано нашими всяческими дубоголовыми перевертнями-публицистами, и по сей час с наслаждением пускающими его в оборот в их передовицах и разных критических якобы рассуждениях, а в сущности пошлейших измышлениях и болтовне по поводу политических дел на Западе. — В конце письма Добролюбов выражает желание поскорее по возврате на родину повидаться со мной, но ни слова не говорит ни о времени препровождения им за границей, ни о том, когда предполагает оттуда вернуться.

Со времени получения мною письма этого прошло около восьми месяцев, в течение которых я, хотя по письмам из Петербурга и знал о том, что Добролюбов находится еще за границей, но от него не имел никаких уже более известий, часто недоумевая: уж не случилось ли с ним там, чего доброго, какой-либо беды?! Но вот, летом 61 года, я возвращаюсь как-то домой после одной из отлучек, которые мне нередко тогда доводилось делать и которые, случалось, длились иногда по четыре и по пяти дней. Представьте же мое изумление и вместе с тем отчаяние, когда я нашел на моем письменном столе визитную карточку с надписью: «Н. А. Добролюбов», на которой его рукою было написано: «Очень, очень хотел повидаться с вами. Пожалуй и подождал бы, но ваши говорят, что не могут даже приблизительно определить времени вашего возврата. При таком положении ждать не могу, — тем более, что спешу на выручку „Современнику“, находившемуся, по слухам, при последнем издыхании...»

Так больше мне Добролюбова повидать и не довелось.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Печатаемый ниже текст, как это было в свое время отмечено Н. М. Чернышевской, является, очевидно, фрагментом первоначального наброска воспоминаний Новицкого. Местонахождение оригинала неизвестно, а снятая Е. А. Ляцким копия хранится в ЦГАЛИ (ф. 395, оп. 1, ед. хр. 428).

Как было указано выше, этот отрывок частично дополняет некоторые места окончательного варианта воспоминаний Новицкого. Так, например, в нем более ярко дана характеристика Сераковского, назван ряд лиц, бывавших на вечерах у Чернышевского. Все это делает целесообразным публикацию в приложениях к мемуарам Новицкого также и первоначального наброска его воспоминаний.

〈О ВВЕДЕНСКОМ, ЧЕРНЫШЕВСКОМ И СЕРАКОВСКОМ〉

У меня был учитель (1851 г.) Иринарх Иванович Введенский, обожаемый всеми кадетами Дворянского полка. Он ослеп, но он так читал, что Ростовцев его не отпустил, и его водили в класс. Я был его поклонником, — он самым разносторонним образом действовал на наши души. Мы стали сами под его влиянием читать и развиваться, изучать языки. От времени до времени к нему заходили по воскресеньям. И вот, помню, я и Лысенко зашли к Иринарху Ивановичу, и там утром встретили студента с довольно длинными волосами, в очках, худенького, скромно одетого. Он поговорил, простился и ушел. Это и был Чернышевский. «Знаете, господа, — сказал Введенский, — это человек замечательный, он, может быть, превзойдет Белинского». Нам захотелось повидать 〈Чернышевского〉, несколько раз заходили, но все не заставляли дома 〈Введенского〉. Это было в 1851 г.

После войны*, я вернулся в Петербург в 1857 г., поступил в Академию. У Сераковского кого только не было. Прихожу раз вечером, было мало народу, входит Чернышевский. А мы на батареях читали «Современник» и читали «Очерки гоголевского периода», особенно в последние периоды войны, когда мы стояли уже в степи. — «Тот ли он?», подумал я, но потом узнал. Я напомнил о нашей встрече у покойного уже тогда Иринарха Ивановича. — «Да, да, да, я помню». С тех пор я сделался его частым посетителем.

В то время я интересовался Рикардо, Смитом, историей (он натравил меня на Шлоссера), немецкой философией и стал обращаться к Чернышевскому. У него была такая масса знаний, что я не встречал потом никого, напоминавшего его: он делился 〈ими〉 до того охотно, что иногда просто совестно было. И тут я узнал, до чего это была добрая душа, — в этом отношении он напоминал Александра Николаевича Пыпина: с каким-то наслаждением сообщал свои знания. Как бы занят он ни был, он при моем приходе откладывал все в сторону и начинал растолковывать мне, чего я не понимал. — «А он (студент Воронов, которому диктовал Чернышевский) пусть в это время побегает».

На четвергах у Чернышевского я встречал Дмитриева, Тургенева, Добролюбова, Ламанского. Возле Ольги Сократовны группировался кружок за роялью, оттуда доносился смех, шутки. Дамочка она была довольно пустая, но особенной несправедливости я никогда не замечал 〈в ней〉. Мужа она называла «канашечкой», относилась 〈к нему〉 шутливо.

Чернышевский был очень скромен, в спорах иногда резок, ироничен, в публичных собраниях, где он являлся чтецом, бывал застенчив. Бывали там и Обручев, Галахов, Аничков, Макшеев, Бларамберг.

* Далее зачеркнуто: на которой я, между прочим, познакомился с Сераковским.

Николай Гаврилович принимал в разговорах живое и веселое участие и, не стремясь к этому, он был в беседах душой кружка.

Сигизмунд Игнатьевич Сераковский был революционер с ног до головы (широкоплечий, белый блондин, среднего роста, с пылающими голубыми глазами), весь порыв—«все возможно, как невозможно!» кричал он. Он был организатор революции прирожденный, но к делу его нельзя было пустить: все спутает*.

...Доктор Городков (дядя Веры) был в госпитале, где лежали революционеры, и он видел, как Сераковского повесили. Многих из этих людей я встречал у Кавелина.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Вскоре после отправки рукописи воспоминаний, Новицкий писал Пыпину (18 марта 1890 г.), отвечая на неизвестные нам его замечания: «Хронологическая неточность, замеченная вами, составляет ничего более, как ошибку, или, правильное — опisku писаря, которому, было, я дал на переписку свои воспоминания. Действительно, факт, упоминаемый мною, совершился не в 51, а в 50-м году и я не понимаю, как я, передавая начало воспоминаний, писанное писарем, проглядел эту опisku его?!» (ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 315, л. 6). В первой части рукописи, написанной рукою писаря, 1851 г. датируется встреча Новицкого с Чернышевским, которая, очевидно, и вызвала возражение Пыпина. Этот вывод подтверждается также сообщением Новицкого, что он, желая поближе сойтись с Чернышевским, приблизительно через месяц после первой встречи, зашел к нему домой, однако к этому времени Чернышевский переехал уже на другую квартиру. Действительно, в начале января 1850 г. Чернышевский жил в Петербурге на Б. Конюшенной, в доме Кошанского, откуда в первой половине февраля переехал на Б. Морскую в дом Дингельштейна (Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М., 1953, стр. 60 и 61). Следовательно, Новицкий впервые встретился с Чернышевским в первых числах февраля 1850 г.

² Чернышевскому было в это время около двадцати двух лет.

³ См. прим. 1.

⁴ Новицкий был выпущен из Дворянского полка 7 августа 1851 г. прапорщиком в 8 артиллерийскую бригаду (Н. М. З а т в о р н и ц к и й. Память о членах Военного совета. СПб., 1907, стр. 670).

⁵ В начале Крымской войны Новицкий находился в Молдавии и Валахии, а затем был переброшен в Крым. Принимал активное участие в осаде Силистрии и во многих сражениях с турками. Во время героической обороны Севастополя командовал правым фасом 4 бастиона 2-го оборонительного соединения. За боевые отличия был награжден орденами (Н. М. З а т в о р н и ц к и й. Указ. соч., стр. 670—671).

⁶ Поражение России в Крымской войне вызвало рост недовольства самодержавием. Возникшее на этой почве революционно-освободительное движение в стране нашло горячий отклик и в армии.

⁷ Первая статья «Очерков гоголевского периода русской литературы» была напечатана в № 12 «Современника» 1855 г., вторая и третья статьи — в №№ 1 и 2 1856 г., без подписи Чернышевского. Следовательно, ни Новицкий, ни его товарищ не могли знать автора этой статьи.

⁸ И. И. Введенский умер 14 июня 1855 г.

⁹ Выражения Салтыкова-Щедрина, которыми великий сатирик заклеил в своих произведениях продажную реакционную печать того времени, в том числе «Новое время» Суворина и «Берег» Цитовича.

¹⁰ Николаевской академии Генерального штаба.

¹¹ Речь идет о целом ряде статей, связанных со студенческим движением 1850—1860-х годов, напечатанных в «Русской старине» этих лет. Так, например, в этом журнале были помещены работы: Н. А. Ф р с о в. Студенческие истории в Казанском университете 1855—1863 гг. (1888, №№ 3, 4, 6, 9); П. Д. Ш е с т а к о в. Студенческие волнения в Москве (1887, № 9; 1888, №№ 10, 11); е г о ж е. Студенческие волнения в Казани (1888, № 12); В. М. С о р о к и н. Воспоминания старого студента (1888, № 12) и др.

¹² 21 апреля 1848 г. Сераковский был арестован, обвиненный согласно официальной формулировке, «в намерении скрыться за границу», и сослан рядовым в оренбургские батальоны. В 1856 г. произведен в офицеры и был сокурсником Новицкого по Николаевской академии Генерального штаба. Принимал участие в создании революционной организации среди петербургских офицеров и «Земли и воли», участник поль-

* Далее зачеркнуто: Бывал там же Голенцовский. На полях помета Е. А. Плцко: Н. Д. <то есть Новицкому> было тогда 24 года.

ского восстания. 27 апреля 1863 г. был ранен и взят в плен, а 15 июня повешен, по распоряжению М. Н. Муравьева. Сераковский был очень близок к Чернышевскому, который вывел его в романе «Пролог» под именем Соколовского.

¹³ Новицкий ошибается: Сераковскому было в это время около 31 года.

¹⁴ Встреча с Чернышевским произошла в конце 1857 г. См. об этом в предисловии к настоящей публикации.

¹⁵ Встреча Новицкого с Чернышевским у Введенского состоялась в 1850 г. См. прим. 1.

¹⁶ На Петровском острове на даче Чернышевские жили со второй половины мая 1859 г. (Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, стр. 171). В Поварском пер. в д. Тулубьева Чернышевский жил со второй половины августа 1855 г. по июнь 1860 г. (там же, стр. 114 и 187). На даче на станции Любань Чернышевский жил в 1860 г., куда Новицкий, как это видно из его письма к Шевченко от 16 мая 1860 г., собирался ехать по поводу освобождения из крепостной зависимости родных поэта. «Вы собираетесь на дачу к Чернышевскому, если намерение ваше не переменялось, то я отправился бы туда вместе с вами» (М. С. Шагинян. Тарас Шевченко. М., 1946, стр. 322 и сл.).

¹⁷ 1 ноября 1857 г. командир отдельного корпуса генерал Плаутин и начальник штаба Баранов подали военному министру записку «Об издании „Военного сборника“, к которой была приложена копия записки Д. А. Милютина (без указания автора), составленной им по этому же вопросу еще в июне 1856 г. на имя товарища военного министра Катенина. Авторы этих записок доказывали целесообразность появления нового журнала. Для окончательной разработки проекта был создан особый комитет, который составил «Мнение» об издании, «высочайше» утвержденное 5 января 1857 г. История создания «Военного сборника» и участия в нем Чернышевского подробно освещена в следующих работах: Н. Макаев. Н. Г. Чернышевский — редактор «Военного сборника». М., 1950; Р. Таубиц. Н. Г. Чернышевский о войне и мире. — «Военная мысль», 1947, № 2; е г о ж е: К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов XIX века. — «Исторические записки», 1952, № 39.

¹⁸ Имеется в виду Николай Онуфриевич Сухованет (1794—1871), который был военным министром с 1856 по 1861 гг.

¹⁹ Возможно, что Чернышевский является автором некоторых работ, опубликованных на страницах «Военного сборника». Однако до настоящего времени ни одна из них не обнаружена.

²⁰ Речь идет, вероятно, о статье «Пять месяцев в *** полку» («Военный сборник», 1858, № 7), автор которой рассказывает о хищениях командиров рот.

²¹ Имеются в виду статьи Н. Н. Обручева «Изнакка Крымской войны» («Военный сборник», 1858, №№ 2, 4, 7), избличавшие крупные злоупотребления в армии. В «Русском инвалиде» и в самом «Военном сборнике» печатались ответы на статьи Н. Н. Обручева, авторы которых обвиняли «Военный сборник» в незнании русской армии и в том, что, выступая с такими статьями, журнал порочит честь мундира.

²² О желании Некрасова приобрести право на издание «Русского инвалида» в литературе неизвестно. Между тем, мысль об издании газеты возникла у него неоднократно. Как сообщает А. Я. Панаева, «Некрасов при самом начале издания „Современника“ мечтал о дешевой газете» (А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1948, стр. 418). После окончания Крымской войны Некрасов пытался вместе с рядом лиц осуществить издание юмористической газеты «Правда» и еженедельной газеты для путешественников. Вопрос о борьбе Некрасова за газетную трибуну с приведением полной сводки его нереализованных замыслов освещен в работах Б. В. Пипковского и С. А. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия» и С. А. Рейсера «Газета для путешественников. Неосуществившийся проект Некрасова» («Лит. наследство», т. 49-50; 1946, стр. 512—524 и 619—622).

²³ Речь идет, очевидно, о Федоре Михайловиче Дмитриеве (1829—1894), профессоре иностранного права в Московском университете с 1859 по 1868 г., а с 1882 г. — попечителе Петербургского учебного округа. О нем см. в воспоминаниях Б. Н. Чичерина «Московский университет» и «Москва сороковых годов». Указание Н. М. Чернышевской, что речь идет о П. Дмитриеве, соотруднике «Современника», ошибочно («Н. Г. Чернышевский. 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 297).

²⁴ До сих пор считалось, что воспоминания Новицкого целиком посвящены Чернышевскому. Однако, как это видно из содержания мемуаров, значительная часть их уделена Добролюбову.

²⁵ Неточная цитата из стихотворения Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало». Новицкий опускает последнюю строфу стихотворения:

Чтоб бескорыстно толпою
За ним не шли мои друзья,
Чтоб под могильною землею
Не стал любви предметом я.

²⁶ Первые статьи Добролюбова были напечатаны в «Современнике», когда он был еще студентом Главного педагогического института и усиленно скрывал свое участие в журнале. О том, что первые статьи Добролюбова приписывались Чернышевскому, писал Некрасову сам Чернышевский 24 сентября 1856 г.: «Статья (в библиографии) о Педагогическом институте произвела прелестнейший эффект, так что я решительно конфужусь от похвал, которыми осыпают меня за нее (она приписывается мне)» (XIV, 313). Об этом же писал Чернышевский и в некрологе Добролюбова: «Институтское начальство не должно было знать автора этой рецензии, которого могло погубить, и она доставила бесчисленные овации тому из сотрудников „Современника“, которому была приписана» (VII, 851). Аналогичные свидетельства И. И. Панаева в «Литературных воспоминаниях». М., 1950, стр. 319.

²⁷ О времени знакомства Новицкого с Добролюбовым — см. в предисловии к настоящей публикации.

²⁸ Н. А. Добролюбов приехал в Петербург около 27 августа 1858 г. и первое время жил у Т. К. Грюнвальд; Василий Иванович Добролюбов — родной дядя Н. А. Добролюбова — в январе 1859 г. переехал в Петербург и поселился у него (С. А. Рейсер. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953, стр. 191 и 208).

²⁹ Имеется в виду публичный диспут о происхождении Руси между Н. И. Костомаровым и М. П. Погодиным, состоявшийся 19 марта 1860 г. и привлечший большое внимание публики и печати. По этому поводу Чернышевский писал родным 22 марта 1860 г.: «В субботу был в большой университетской зале ученый диспут между Ник. Ив. Костомаровым и Погодиным, нарочно приехавшим для этого из Москвы <...> Публики было более 1500 человек» (XIV, 389). «Современник» дал подробный отчет об этом диспуте (1860, № 3). Кроме того, Добролюбов в двух статьях «Наука и свистопляска, или Как аукнется, так и откликнется» и «Призвание (М. П. Погодину от рыцарей Свистопляски)», напечатанных в №№ 4 и 5 «Свистка», подверг уничтожающей критике реакционную «норманскую» позицию Погодина на этом диспуте.

³⁰ Ср. запись Добролюбова: «Зачеркнуто Марии» (VI, 656).

³¹ Слово «говорильня» встречается в статье Добролюбова «Из Турина» (V, 78).